

The background of the book cover is a composite image. The upper portion shows a hazy, sepia-toned view of the Paris skyline across a body of water, with the Eiffel Tower being the most prominent feature. The lower portion of the cover features a close-up, black and white photograph of a young man and woman. The man is shirtless, has a beard, and his eyes are closed. The woman is leaning her head against his, also with her eyes closed, suggesting a moment of intimacy or sleep. The overall mood is romantic and contemplative.

Борис НОСИК

ЗАПИСКИ
МАЛЕНЬКОГО
ЧЕЛОВЕКА
ЭПОХИ
БОЛЬШИХ
СВЕРШЕНИЙ

ТЕКСТ

Борис Носик

**Записки маленького
человека эпохи больших
свершений (сборник)**

«Автор»

2010

Носик Б. М.

Записки маленького человека эпохи больших свершений (сборник)
/ Б. М. Носик — «Автор», 2010

Борис Носик хорошо известен читателям как биограф Ахматовой, Модильяни, Набокова, Швейцера, автор книг о художниках русского авангарда, блестящий переводчик англоязычных писателей, но прежде всего – как прозаик, умный и ироничный, со своим узнаваемым стилем. «Текст» выпускает пятую книгу Бориса Носика, в которую вошли роман и повесть, написанные во Франции, где автор живет уже много лет, а также его стихи. Все эти произведения печатаются впервые.

© Носик Б. М., 2010

© Автор, 2010

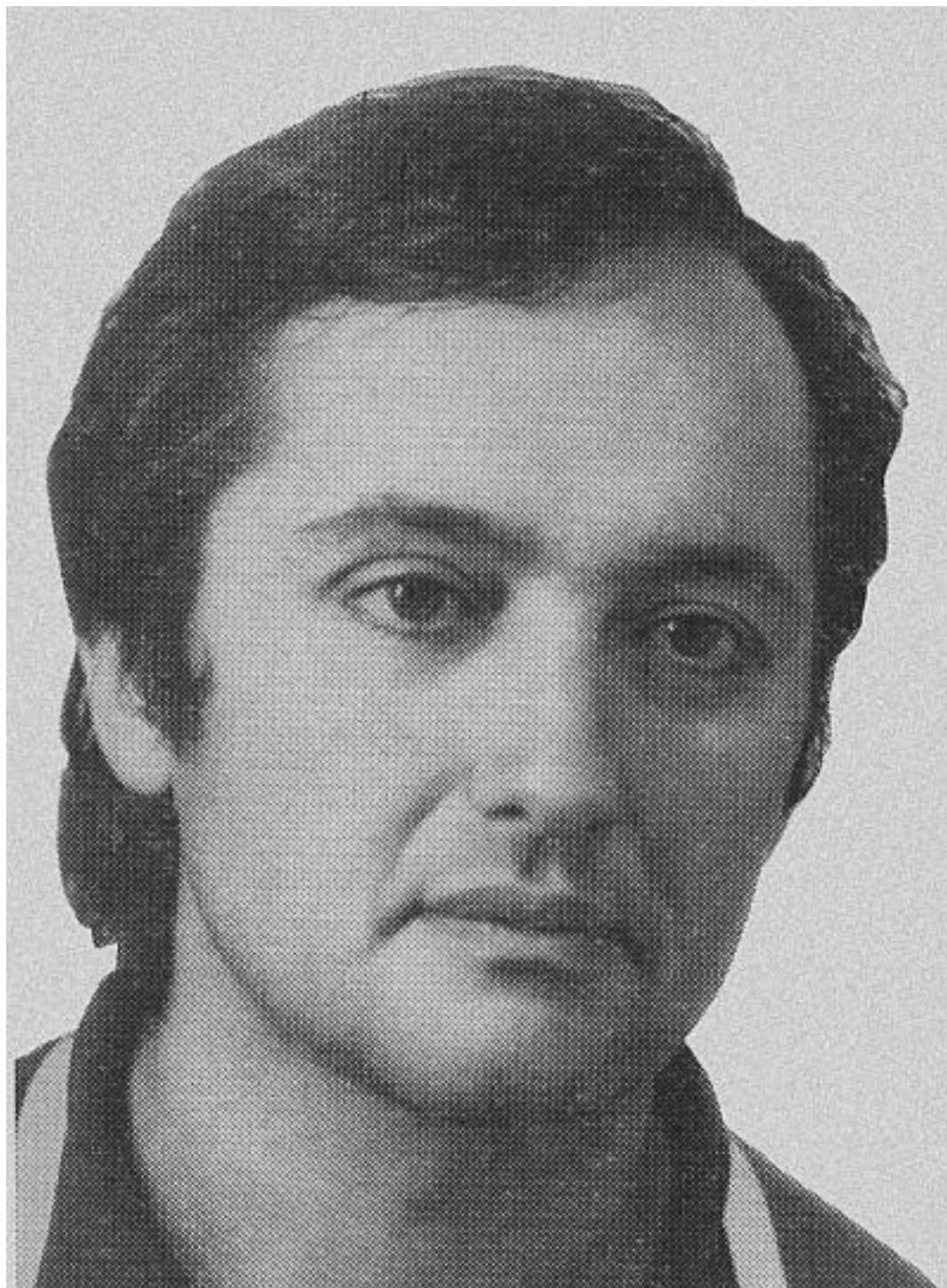
Содержание

Записки маленького человека эпохи больших свершений	5
Предисловие редактора	7
Часть первая	9
Глава 1	9
Глава 2	13
Глава 3	19
Глава 4	27
Глава 5	32
Часть вторая	40
Предисловие редактора	40
Глава 1	40
Глава 2	45
Часть третья	48
От издательства	48
Письмо первое	49
Письмо второе	50
Письмо третье	50
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Борис Носик
Записки маленького человека
эпохи больших свершений
Роман, повесть, стихи

Записки маленького человека
эпохи больших свершений

Памяти М.П. Данилова



ЗИНОВИЙ КР-СКИЙ

в те годы когда он начал вести свои записки. Фотография любезно предоставлена его другу-редактору бывшей супругой Зиновия

Предисловие редактора

Человек, который представляет на суд немногочисленных читателей эти разрозненные записи, ни в коей мере не может считать себя их автором по той простой причине, что он их не писал. Часть из них передана ему на хранение его прежним другом-приятелем Зиновием Кр-ским перед тем, как этот скромный и достойный человек совершенно сгинул, исчез и даже неизвестно, обитает ли в единственном нам доступном, столь незначительном по размерам, если верить науке, но столь привычном для нас мире. Вторая часть была передана издателю другом исчезнувшего Зиновия Михаилом Петровичем Даниловым, ныне покойным. Оказавшись владельцем этого непонятно для чего пригодного наследия, Ваш покорный слуга испытал сильнейшую растерянность и даже был вынужден изменить обычной своей пассивности и пренебрежительности, с которой ранее трактовал как свои собственные немногие и весьма скромные произведения, так и произведения друзей: мало ли, мол, что на свете пишут, не все же читать и уж тем более не все печатать для всенародного обозрения. Да и зачем печатать? Эта последняя мысль при всей своей внешней безнадежности сильно поддерживала автора этого вступления в его собственной литературной судьбе.

Однако на сей раз он встал перед рассуждением совершенно иного свойства. Человеческая и сочинительская судьба злосчастного Зиновия К. сложилась настолько уж несоразмерно жалобно, что абсолютно пренебречь этим непонятно с какой целью переданным в мои руки ворохом исписанной бумаги было бы в некотором роде несправедливо или, как говорят люди более нас просвещенные, неэтично. С другой стороны, положение оказалось щекотливым, ибо при всей своей любви к так странно исчезнувшему другу-приятелю автор этих строк, воспитанный на лучших образцах русской литературы, не мог заставить себя признать бумаги, оставленные другом, достойными выйти в свет и как бы встать тем самым в один ряд с творениями столь почитаемой нами русской литературы, ныне учительницы всего света, а раннее – и говорить нечего. Более того, странный жанр этого очень уж, согласитесь, домашнего и доморощенного произведения нуждался в определении, ибо ничто не может быть напечатано без такого определения: повесть – так повесть, эссе – так эссе, дневник – так дневник, максимы – так максимы, иначе получается, как говорил Основоположник, – махизм, поповщина, негативизм всех и всего. Вот в какое затруднительное положение поставило издателя этих бумаг попавшее в его руки наследство, или, выражаясь научно, литературное наследие. Более того, последняя часть этого наследства состояла из каких-то частных писем, которые уж и вовсе литературным произведением считаться не могут.

И все же автор сего предисловия не смог отказать в просьбе, которую как бы обращали к нему эти непутевые страницы, оставленные его неизвестно куда сгинувшим другом Зиновием Кр-ским, человеком невыдающимся, незаметным и как таковой тем более заслуживающим сострадания и компенсации. Ваш покорный слуга предпринял труд и подверг себя риску издания этих записок, которые при всех своих ужасающих низких достоинствах показались ему, однако, очень похожими на их собственного создателя, Зиновия К., маленького человека эпохи больших свершений. Издатель дал возможность читателю (впрочем, легко ли ныне представить себе такового) ознакомиться с текстом, однако не удержался от того, чтобы не оговорить кое-где своего отношения к этим незрелым и сугубо личным записям.

Надо признать, что работа над текстом повлекла за собой для автора этого предисловия и еще более обременительные последствия. Увлечшись прочтением, он стал чаще думать об ушедшем неизвестно куда своем друге, вспоминать некоторые совместные эпизоды их жизни и даже в конце концов (с единственной целью дать полноту и разборчивость этой книге, а кроме того, подкрепить своим хотя и небольшим, а все же существующим уже литературным авторитетом это издание) решился написать в манере нынешней, а не черт знает какой прозы

одну часть, посвященную жизни и приключениям Зиновия Кр-ского на поприще искусства и жизни.

Вот теперь, после небольшого объяснения, облегчающего душу Редактору и понимание пружин читателю, можно непосредственно отослать вас к бумагам Зиновия Кр-ского – где он днесь бедняга?

*В. Мякушков*¹

¹ Валерий Афанасьевич Мякушков, далее именуемый себя Редактором (1918 – 1983), был уроженцем г. Томилино, трудился в качестве младшего и даже старшего редактора в нескольких московских издательствах («Искусство», «Профиздат», «Коммунальное хозяйство», «Гослитиздат» и др.). Член партии с 1949 г. Вышел из партии посмертно, в связи с переездом семьи в Калинин (сведения получены издателем от семьи покойного В.А. Мякушкова).

Часть первая

Глава 1

Я потому не могу с должною строгостью отнестись к своему внешнему действию и в отношении других людей, что все время как бы почитаю себя за жертву, которой не счастливится и не везет, а если вот – повезло на недолгое мгновение, то это лишь для возмещения той несправедливости, которая мне была сделана, так что я должен в обычном своем существовании принимать все как должное, а не искать в себе слабых мест и порочных действий в отношении ближнего.

Вот хотя бы взять и сегодня – целая неделя болезни, а солнце сияет на улице, и я, кажется, немало наказан, поскольку все дни без работы, тут бы и подумать с серьезностью над тем, в чем я был и грешен и несправедлив и гадок к ближнему, так что отвернулись от меня почти все мои друзья, ставшие ненужными, но я – нет, все думаю о выздоровлении, которое одно принесет мне компенсацию упущенного времени.

И вот что я вам скажу: это все от потаенной мысли, что я себе не принадлежу и что эта вся свобода моя – временная, не сегодня-завтра она кончится и снова будут мной распоряжаться, как захотят, а раз так, то и надо урвать это время с наибольшей приятностью. Не знаю даже, согласитесь ли вы со мной, вполне возможно, что собственная ваша жизнь протекала по другому руслу, но мной – я настаиваю – вся эта свобода воспринимается как случайная, и во сне мне снится одно и то же: говорят, что мы, мол, вас выпустили по ошибке, а теперь извольте снова – и год, и два, и три... И даже самая эта ситуация, в которой довелось побывать, она ясно представляется уже только во сне, а так вспоминаются одни детали, никак не дающие целого. Например, солдатский сортир...

* * *

Дело в том, что просыпаешься ты еще до подъема, за несколько минут, от страха, что сейчас будут будить, или от того, что сержанты уже встают и разговаривают громким голосом, потому что все рано будить придется. Но ты все еще лежишь и опасаясь чего-то, а именно громкого крика: «Рота, подъем!» – боишься, что он вот-вот раздастся, и он раздается: «Рота, подъем!» – «Взвод, подъем!» – «Отделение, подъем!» И потом – «Выходи строиться». С этого момента кончается твой подневольный сон и начинается подневольное движение в продолжение целого дня. На улицу ты должен выйти в ночной рубаше, потому что зарядка, но еще до зарядки будет много холода, потому что зима и даже здесь, в теплой Араратской долине, в шесть утра все же морозно. Возле казармы, огромного глинобитного амбара с двухэтажными койками, мы стоим, дожидаясь тех, кто замешкался внутри, потом бежим через плац в дальний конец, где такой же, как наша казарма, глинобитный и длинный солдатский сортир. На улице морозно, так что мы плечом к плечу не спеша мочимся в длинный желоб, устроенный внутри сортира, а сзади, надев на шею ремни, оправляются те, чья нужда обстоятельней, и, если б не эти засранцы, которым с утра приспичило, в сортире была бы вполне клубная обстановка, а так, пожалуй, нет, и, плюнув в их сторону, ты выходишь на холод и глядишь с отвращением на нежно-розовую снеговую вершину двугорбого Арарата. На улице еще почти никого нет, черт его знает, где они все, наверное, еще в сортире, ты ежишься в ночной рубашке х/б, но не двигаешься, потому что двигаться еще заставят, а тебе бы сейчас постоять бы да подремать, прежде чем начнут гонять вокруг всего плаца в тяжелых кирзовых сапогах до тех пор, пока эта двугорбая гора не запляшет у тебя перед глазами в ритм сердцу. Так что, в конце концов,

ты поворачиваешь и снова идешь в тепло, в сортир, и снова стоишь, прислоняясь плечом к ближнему, пока не выгонит нас всех из сортира рота связи, у которой та же нужда, – выгонит уже на целый долгий день...

* * *

Ну да, конечно, сейчас ты свободный как птица, и вся твоя несвобода как бы придумана, но эта мысль, что тебя еще могут повязать, что всегда могут, – она и делает тебя как будто отпусником в увольнении, да еще без увольнительной записки: не знаешь, какой патруль придется.

И еще, конечно, вопрос нацпринадлежности. Тебе, может, наплевать на эту принадлежность, потому что тебе-то все равно и, по совести говоря, наверно, всем все равно, и тебя не клюет жареный петух, ты ходишь смело по земле, и если где прижмут сегодня, то главное, не думать об этом, работай дальше – дальше будет лучше и что-нибудь подвернется, и Господь тебя не оставит, как же – вот птица певчая еще меньше твоего имеет, а кормится, ну и ты проживешь. Но вот наступает день, когда кто-нибудь, от своей собственной нужды или неудачи, от слабости или от злобы, говорит тебе вдруг, что ты не такой, не настоящий: в общем, намекает на ущербную твою принадлежность, которая не то чтобы хуже его собственной, а чем-то все же не та, что нужна. И этим он заставляет тебя думать о том, о чем ты думать считал недостойным. Заставляет тебя думать по их образу, по их законам, и тем достигает своей цели, потому что ты уже не свободный странник на земле, а носитель шестиконечной обиды в душе, с принадлежностью к обиженному клану. А тебе ведь противны кланы и противна насильственная к ним принадлежность. Может, это и не всегда и даже совсем редко случается, но оно может случиться, и от того в тебе не умирают разные воспоминания, например, профессорские очки, царствие ему небесное, плохой был человек. Или лошадиная морда редактора, или красное рыло кадровика, и кое-какие милые твои друзья-интеллигенты, которые сходят с круга и у тебя же ищут утешения, чтобы ты подтвердил высокий характер их неудачи: их принадлежность к слабому большинству и твою – к наглому торгующему меньшинству. Мутная обида стоит тогда в твоей душе. Ты не обнимаешь больше человечество невидимым объятьем, не подставляешь ему для поцелуя и для пощечины одутловатую щеку, а мысленно бьешь невинных по красным мордасам, по николаевской бороде, по слепым очкам... За что же вы так себя, и меня, и нас всех, которые могли быть лучше? Взять вот те же очки...

Институт, куда я поступал, был плохонький, трехэтажный², не чета прочим громадинам, куда брали пока всех и без всяких помех, скажем, для механизации торфа. Но в моем институте занимались литературой, изучали ее и учили ее делать, а это, наверно, так прекрасно – ее делать, и разве можно делать ее без института. Оттого мы, школьники, награжденные за свое рвение золотыми и серебряными медалями, пришли сюда на собеседование с пылкой, но пугливой надеждой – выстоять, пройти, поступить.

И вот мы сидели, два десятка худосочных восемнадцатилетних птенцов, чтобы поговорить с толстым профессором в очках, знаменитым профессором, который лучше нас всех знал русского языка, а может, лучше всех в мире, во всяком случае так ему казалось, царствие ему небесное. Нас было два десятка человек, из них двое без принадлежности, а восемнадцать, к сожалению, да. И вот мы сидели, готовя себя к битве интеллектов, мы должны были показать толстому профессору, что мы не просто так, что мы очень много читаем и, конечно, все время пишем, ну, скажем, с третьего класса, так что мы сможем оправдать и что мы выучим русского языка так, как он скажет. И мы были полны рвения выучить все, а потом делать все, как он

² Издателю удалось выяснить, что речь идет о Московском полиграфическом институте, который размещался на Большой Спасской.

научит, но мы уже знали в испуганных печенках своих, и в сморщенных от волнения мошонках, мы знали, что его все это может никак не трогать, а может очень интересовать то, что мы не принадлежим, может интересовать наша непринадлежность.

Это было странно, потому что он был не какой-нибудь милиционер, а настоящий профессор, он был сильнее нас, и больше, и толще, и ученей в тысячу раз... Но вот вышли из кабинета те двое, которые были спокойны и уверены в своей полноценности, они вышли с победой и пошли домой, пожелав нам успеха, а мы, восемнадцать прочих, остались со своей непоправимой бедой, несмываемым пятном на теле и репутации. Время шло, половина из наших, неполноценных, уже побывала за профессорской дверью, они выходили как-то странно, как выходит иногда в поликлинике человек из кабинета врача, застегиваясь на ходу с виноватой улыбкой, потому что могут не понять, зачем спускали ему штанишки – чтобы сделать клизму или чтобы взять сок предстательной железы.

Наконец пошел и я, сидел один против профессора в малюсеньком кабинете в этот решительный час своей жизни и очень старался отвечать, и даже быть остроумным, и говорить хорошо, складно, и проявить глубину. И мне на какое-то мгновение показалось, что он сочувственно сверкнул очками, их толстый профессор, но потом он усмехнулся, покачав головой, – ох уж эти: гони их в дверь, они лезут в окно... Он усмехнулся и начал давить меня всей тяжестью располневшего тела. Он служил своему безжалостному богу, и ученость его была тут ни при чем, а также все его ученые книги и все благородные слова – все было тут ни при чем.

Я еще сопротивлялся, я спорил, как бы пытаясь доказать, что это не знание его, а это его старость так тяжела, что я тоже буду старый когда-нибудь, а пока все же, вот видите, знаю уже так много и понимаю тоже. Но он только как бы подмигивал мне, и это было всего обидней, потому что это была нечестная игра: ему не нужны были мои школьные крохи, ему нужно было просто выполнить то, что велел ему усатый его бог, а дома, пожалуйста, он мог бы даже посетовать, что вот... Впрочем, безопаснее и дома было подивиться, как настырны эти изгои и как мудры установления, их ставящие на место.

Я весь был комочком горя и обиды, я заперт был в этом крохотном кабинете с огромной своей обидой, и трехэтажное это здание не представлялось мне в разных его разрезах, с подвалами, со всеми базисом и надстройкой, в которой сидел усатый бог со своими пигмеями, с первым этажом, где в тот день бродил осатаневший от обиды мой будущий приятель Сашка, тоже изгнанный профессором...

Наверно, поэтому я и не видел, как толстый завхоз с шишкой на внушительном носу вдруг остановил Сашку и сказал ему слезливо:

– Ай-ай-ай, такой приличный молодой человек и такой грустный... У вас есть папа? Позовите завтра папу, и мы попробуем что-нибудь сделать...

И потом за три сотни старыми, то ли новыми, директор института через этого шишковатого завхоза внес поправки в несправедливые веленья судьбы. Директор был шире, чем профессор. Ему скучно было от одной науки и страха перед усатым богом: он любил длинноногих секретарш, вина и наличность. Он был обаятелен, красноречив и лучше всех говорил речи по поводу исторических событий, в которых тогда не было недостатка. Это уже позднее люди, которые не имели вкуса и боялись жить с секретаршами, упрятали его в тюрягу, не понимая, что коррупция только смягчает любое, самое безжалостное ярмо.

Мы кончили институт. Нас научили калечить живую литературу и подтасовывать мертвую. К счастью, немногим из нас досталась эта работа. А те двое, которых приняли без трудов, просто умерли досрочно. Умер и профессор, так что все это не имело бы, может, никакого значения, если бы не мертвый блеск его очков, рождающий обиду и так часто мешающий мне обнять человечество.

Ну иди же ко мне, одураченный недоумок. Дай я пожалею тебя нерасторопного, у которого эти горбоносые из-под носа вытянули работу, очередной заказ на сладкоголосые гимны

весне. Ты бы один написал эти гимны, дай тебе время, они были бы и добросовестней, и лучше, потому что ты лучше их знаешь русского языка и понимаешь русского духа. Ты крепче расцеловал бы задницу, от которой они оттерли тебя юрким териленовым плечом...

Приди, мой страдающий брат, объединимся, споем старые гимны...

Нет, он не придет, мой обиженный брат, ущемленная элита равнодушного большинства. Он будет ждать законного разрешения на погром или обзовет меня традиционной кличкой, опять же легально, в рамках дозволенного, потому что он чтит всех, кому положено. Он даже не спросит, почему положено. Он знает, что кому положено, сами знают. И он ждет, чтоб появился тот, кому положено. И если он долго не появляется, мой брат обеспокоится: что-то проглядели, все пошло кувырком, мой брат начинает скулить, вспоминать с тоской волосатую руку Вождя, и, если не положить ему на холку эту сильную руку, не дать ее почувствовать, он, бедняга, сам напишет на себя донос. Откуда я знаю тебя так близко, брат мой, новейший патриот? Да оттого, что я из твоего поколения, я твой, плоть от плоти, того же пуганого семени, целовальник того же зада.

Примечание редактора

Отдавая эти бумаги без поправки на суд случайного читателя, Редактор ощущает все же свой гражданский долг в предупреждении некоторых невольно возникающих мыслей. Первая заключается в том, что Зиновий Кр-ский волею Всевышнего был человек еврейского происхождения, издатель может подтвердить это со всей компетентностью их старой дружбы... Мягкий и уязвимый этот человек со свойственной для него мнительностью придавал слишком большое значение этому расово-этническому факту, тогда как Редактор со всей ответственностью может заявить здесь, что это несущественное национальное различие было в наше цветущее советское время начисто сметено могучим ураганом и расплавлено в горниле классовой борьбы. Примеры тому, как лица этой нередкой национальности выдвигались в первые ряды управленческого аппарата и творческого авангарда, могут быть приведены не только из времени исторических перемен, но даже и из новейшего времени, например, Аркадий Райкин. И если принимались вынужденно какие-нибудь меры для того, чтобы ограничить поток этих лиц, то каждый раз эти меры были вызваны особенностями международного положения, остававшегося напряженным, или требованиями момента. Таким образом, факты, могущие отразиться в записках Зиновия К., хотя и не носят следов недостоверности, но каждый раз окрашены личной эмоцией и непониманием текущего момента, которому он как личность должен был бы сознательно подчиниться. Однако, оставаясь в полном смысле «маленьким человеком», автор этих записок не мог подняться над своими чисто личными, человеческими обидами и проглядел большие исторические победы народов в их движении к национальной независимости в странах Индии и порабощенного Востока (сюда можно включить и Африку).

То же можно будет сказать и в дальнейшем, в отношении армейской службы, которая для всякого молодого человека призывного возраста служит источником славных боевых воспоминаний и закалки на всю жизнь.

Что же касается упомянутого здесь тогдашнего мимолетного националистического движения, то это были некоторые ошибки способных и вполне благонадежных молодых людей, которые идеализировали проклятое прошлое в некоторых достойных критики областях (что и отмечалось прессой в достаточно мягкой и тактичной форме), но зато верили в славное прошлое, наилучшее настоящее и счастливое будущее своей Родины, настоятельно призывая к порядку и твердой воле, а также к очищению нашей литературы от всего прогнившего и либерального, что уже давно не нужно народу. Движение это вовсе не преследовалось, и молодые люди, к нему примкнувшие, занимали самое видное положение в нашем обществе, что само по себе является знаком благополучного положения и должной свободы для разных оттенков

мысли, если она не выходит за рамки здорового отношения к своему патристическому долгу. Что же касается выражения «целовальник зада», то Редактор склонен отнести его всецело к издержкам грубого стиля.

Редактор

Глава 2

Я помню роковые дни, когда он охладел, тот царственный зад, застыла кровь, остановилось сердце, перестало гонять по кишкам и жилам выдержанный «Кинзмараули».

Те, кто этой долгожданной смерти был обязан своим спасением, приходили в особенно горькое отчаяние. Может, человек этот успел внушить нам, что и смерть от его рук – счастье. Скорее же мы просто не знали, что к чему и откуда, чего еще ждать в эту пору зловещего страха, даже вот Он сам не выдержал и умер.

Помню, мы стояли во дворе университета на Моховой и чего-то ждали, молчащие и испуганные. Говорили, что провезут его труп, и мы хотели видеть. Кого, что видеть – я даже не знаю. Может быть, угол рогожей накрытого гроба.

Его так и не провезли, и мы побрели искать конец очереди (о, здесь у нас был величайший опыт), которая приведет нас к нему в Колонный зал. Мы дважды занимали очередь где-то у Покровских ворот, дважды доходили до человеческого котла на Трубной площади, но отступали в скорби. Второй раз это случилось уже глубокой ночью. Тут, впрочем, надо признаться, интересы наши стали рассеиваться. Мы заметили, например, что студенты играли в веселые, шумные игры, пиная чужую галошу, единственно чтобы согреться. Мы отметили мрачный юмор милиции, говорившей, что там, внизу, таких галош две машины. И мы не захотели гибнуть на Трубной, пробиваясь к мощам. Мы вернулись в твой подъезд.

Это был старый добрый подъезд, в котором начиналась вся наша любовь. В подъезде было все же теплей, чем на улице. Шаги сверху давали нам десять, а то и все двадцать секунд на приведение одежды в порядок. Шаги снизу заставляли настораживаться. А в общем, в подъезде чего было не жить? Там было так тепло. Там мы сперва оттаивали, а потом распялись. Горожане любят друг друга в парках и на кладбищах, в темных кинозалах, на чердаках, пустырях, даже в речных трамваях. Я думаю, что первенство остается за подъездами, и городские психиатры и психоаналитики должны многие беды отнести на счет подъездов. Впрочем, кому мы нужны, бедные психи, кто нас будет анализировать?

...Я, помнится, первым услышал легкие шаги сверху на лестнице и сделал мечтательный вид. Такой вид, словно мы говорили о романе Вадима Кожевникова «Живая вода» – вполне пристойный и бессмысленный вид. Ущербный недомерок в черной шинелишке и каракулевой шапке, проходя мимо, отметил наши неуверенные, провожающие взгляды. Он остановился, приосанился, прочистил горло.

– Вы, собственно, по какой причине тут?

– Мы...

– Да, вот вы?

Мы растерялись, потому что мы были потенциальные враги законов, извечные нарушители установлений, везде и всюду, а тут, в подъезде, особенно, мы были вечные должники порядка и приструнить нас было не только его долгом, но и священной обязанностью, которой он изредка пренебрегал, потому что не до всего доходили руки у перегруженных слуг народа.

– Да еще в такой день! – сказал он, и мы поняли с полслова, мы знали, что да, так и должно быть, особенно в такие дни, когда весь народ, когда вдруг не стало с нами Его, вот в такие дни враги попытаются, и даже если не попытаются, должна быть невероятно, прямо-таки невероятно усилена бдительность, и тогда они, такие вот тщедушные бобики в черных шинелях

и затрапезном искусственном каракуле поползут в подъезды спрашивать с нас документы. И он, конечно, сказал:

– Ваши документы!

Мы ожидали этого требования, оно казалось нам законным, потому что, где бы ни застал тебя закон, он хочет твои документы, прежде чем говорить с тобой лично.

Я помню, как ты рванулась к дверям квартиры за своим паспортом, потому что это был твой дом и ты была здесь прописана. Но тут я слазил в карман дрожащей рукой и достал изобличивший меня паспорт. Он вертел его, и я заметил, что он ничего не видит, но чем-то обеспокоен. То ли, униженная мелочь, он сам был возбужден затеянной им игрой в оскорбителя, то ли он был пьян, даже не знаю наверняка, но только помню, как зернышко бунта вдруг стало рождаться во мне и я вырвал у него свой гордый вид на жительство, вырвал и крикнул, задыхнувшись:

– А вы... А ваши документы...

Я еще не был уверен ни в чем и, наверно, смирился бы снова, но он дал маху. Он суетливо полез в карман и помахал каким-то железнодорожным удостоверением. Он дал маху, не сказал простых слов, что ему положено. Положено – и все тут. И вот тут ему уже пришлось отступать, спускаясь по лестнице задом, потому что я наступал сверху, пытаюсь пнуть его, или даже ударить, и сам стонал от унижения, от неспособности скинуть его вниз или просто набить ему морду...

Черт его знает, откуда он шел, этот тип, зачем ему все это понадобилось? Может, и его перед этим унизили, выгнали или целый час топтали ногами... Для меня важно было другое. То, что я ждал его и он как бы материализовался из моих ожиданий. Я ждал, что в любую минуту у меня спросят документы, осведомятся, почему я здесь, а не там, почему стою, а не сижу. Спросит тот, кому положено. А кому положено – сами знаете.

Мир этот, как нам известно, сотворен гармонично и уравновешен открытыми наукой симметрическими законами, которые, впрочем, совершенно напрасно иные пытаются использовать в искусстве, потому что ни миры с их антимирами, ни катоды с их анодами не могут питать искусство, движимое душевной потребностью, – тем не менее подобное равновесие существует в мире, и будет только закономерно, если оно найдет отражение в моем правдивом повествовании. Вернемся, например, снова к солдатскому сортиру. И затем только вернемся, чтобы вспомнить, что на противоположной стороне плаца, в удаленном его углу, вполне симметрично описанному уже глиняному прибежищу большой и малой солдатской нужды, стоял сортир офицерский, тоже весьма скромный и глинобитный, вполне доступный для всякого страждущего, однако с меньшим количеством очков и потому создающий некое впечатление уюта. Так вот в дни своего дневальства в казарме, освобожденный по сему случаю от зарядки, но вооруженный ведром и веником, я отправлялся спозаранку в этот сортир, чтобы навести там чистоту и смыть следы некоторых неосторожных действий офицерского состава.

В результате не случайного, а вполне закономерного совпадения в этот самый отрезок времени в сортир, а точнее уже, в туалет, ибо речь идет все же о месте офицерского отправления нужды, заходил на пути в свой служебный кабинет один высокий и весьма нескладный, совсем лишенный боевой выправки армейский капитан, заведовавший в этой энской части обозно-вещевым снабжением. Я в ту пору еще слабо отличал друг от друга лиц, одетых в одинаковую военную форму, но опытный глаз военного капитана метко различил во мне существо, слабо умножающее боевые традиции части. Однажды, когда каждый из нас был занят своим соответствующим месту занятием – боевой офицер мочился, а я уныло возил веником по толчку, высокий капитан вступил со мной в беседу на отвлеченные темы – в том смысле, что темы эти не касались ни туалета, ни воинской славы. По окончании этой краткой и как бы попутной беседы я вернулся к мытью сортира, а капитан ушел, унося в сердце некий добрый замысел, которому суждено вскоре было открыться. Это произошло в очень тяжкий для меня

день, когда, вернувшись после ночной работы на кухне, в одежде, пахнущей объедками, я с беспечностью бессилия лег на койку, за что был строго наказан вышестоящим сержантом и тут же отправлен на новые работы, во время которых сильно испуган был другим сержантом и наказан внеочередным нарядом на подобные же работы, теперь уже до конца недели, дотянуть до которого совершенно утратил надежду. И вот в это совершенно отчаянное мгновение в глинобитный амбар казармы вдруг вошел высокий, лишенный боевой выправки капитан и навсегда забрал меня оттуда. Капитан водворил меня рядом с собой в маленькой комнатушке, где я был избавлен от наиболее тяжелых испытаний и унижений. Более того, высокий капитан удостоил меня своей дружбы, а в воскресенье взял к себе домой, где заставил съесть огромный обед, а когда я вдруг застеснялся своего неумеренного аппетита, капитан великодушно пошутил, что все равно пищу придется выбрасывать собакам, и эта шутка лишила меня последних остатков стеснительности.

Так в этих, казалось бы, вовсе неблагоприятных обстоятельствах я обрел почву для благожелательности, на которой могло произрастать мое благодушие. И если я не достиг по этой части совершенства, то здесь виной только моя душевная лень, а также моя короткая память.

* * *

Я не опасаюсь более, что рассказ наш получится мрачным или грустным, потому что едва стоило мне вспомнить добрые деяния высокого капитана, как чередой потянулись в памяти добрые дела и поступки различных лиц, как наделенных высоким чином, так и вовсе чинов лишенных, и в этом океане добра совершенно исчезли те жалкие укусы людей желчных или судьбой обиженных, которых так мало остается на горизонте, что удивишься только, как вообще удастся им уцелеть. Потому что в той же мрачной казарме, похожей на амбар, которым ей никогда не случалось быть, и отчасти на кавалерийскую конюшню, которой она действительно являлась долгое время, потому что с этой целью и была первоначально построена, – даже там, еще до прихода капитана-спасителя, столько мне пришлось услышать Доброго и Прекрасного, что, если бы все это сумел я удержать в памяти, никогда не возникло бы сомнений в разумной доброте нашего мира. Вот хотя бы наш ротный замполит, капитан Паландузян.

Это был очень плотный краснолицый человек, у которого было, согласно его должности, работы совсем не много. Он возился все время где-то в той комнате при казарме, которую называют то Ленинской комнатой, то Красным уголком, то Комнатой отдыха. Капитан украшал эту Ленинскую комнату и из нас помочь ему в этом мог только Генка Голубев из Вязников, потому что Генка умел срисовывать с плакатов Кремлевскую стену, значки и знамена и при этом он был еще неплохой столяр. Так что, запершись в Ленинской комнате, они с капитаном целый день выпиливали деревянные стенды и рамки в виде знамен, пушек и Кремлевской стены. В эти рамки они вставляли красиво переписанные статьи устава внутренней службы, а также «Законы и постановления» про то, что полагается солдату за нарушение устава, за разглашение тайны и за прочие неблагоприятные дела. Другими словами, Генка и капитан создавали в этой комнате наилучшую атмосферу отдыха в то время, что мы, салаги, овладевали строевым шагом, строили баню на краю военного городка, ходили на всякие ночные учения, мели и мыли полы, чистили оружие и делали все, что положено делать салагам перед тем, как упасть на койку и уснуть мертвым сном в десять ноль ноль по армянскому времени. И конечно, мне ни за что было бы не узнать, как нежно любит и хранит меня замполит-капитан, если бы в конце ноября счастливый случай не открыл мне на это глаза.

В то утро капитан разбудил меня за целых полчаса до того, как я должен был сам проснуться от страха в ожидании подъема.

– Одевайся, пойди посмотри, – сказал мне капитан.

Сонно спотыкаясь, я побрел за ним в Ленинскую комнату и остановился у двери.

– Вот! – Капитан повел рукой, и я увидел, что в деревянную рамку, изображающую Кремль, вставлены голубые полоски бумаги. Это была стенгазета саперной роты.

– Читай, – сказал капитан.

Я послушно стал читать заметку «Правильно ставить мина!». Дочитав ее до конца, я обнаружил, что она подписана моим другом Юркой Ермаковым. От удивления я начал просыпаться, потому что мне доподлинно было известно, что, во-первых, Юрка никаких заметок не писал, а все время таскал со мной глину, а во-вторых, Юрка был владимирский и ему негде было научиться писать со столь явным армянским акцентом. Дальше все было еще интересней, потому что я увидел заметку нашего друга Лежавы «Крепить воинский дисциплина!». Насколько я понял из этой заметки, Лежава, наш с Юркой лучший друг, разоблачал нашу с Юркой расхлябанность. «Часто забывают про воинский дисциплина», – писал он развязно. Но самый большой сюрприз, который заставил меня окончательно проснуться, таился в ударном материале стенгазеты – в передовой статье «Тридцать лет без Ленина по ленинскому пути». Статья эта была подписана моим именем. Безбожно имитируя армянский акцент, я призывал в этой передовой статье делать все, что положено делать воину, оставшемуся без Ленина, – крепить дисциплина, правильно ставить мина и учить наизусть своя устав.

– Ошибки много делал? – спросил замполит.

Обретя дар речи, я сказал, что не очень много.

– Ну, так, не очень грубый ошибка? – спросил капитан. – Не хотел тебя будить. Зачем будить? Ребята устал, весь день бегал, глина месил, посуда мыл... Думаю, сам все заметка буду писать... Пускай спит...

«Рота, подъем! – пронеслось по нашей конюшне. – Взвод, подъем! Отделение, подъем!»

– Нет, не очень грубый ошибки, – сказал я, заговорив почему-то с армянский акцентом. – Хороший заметка.

Конечно, жизнь длинная, так что я дождался, когда срок службы кончится. И ведь не только в Армении случалось мне ощутить человеческое тепло, но и на родине, и даже за границей.

Так случилось, что целый вечер бродил я однажды по мрачному городу Вроцлаву. Вечер был ноябрьский, дождливый и холодный, и гнала меня по улицам этого города не какая-нибудь настоящая необходимость, а просто охота к познанию чужого города и чужой земли. Охота же, как известно, пуще неволи, да и сама неволя, как выясняется иногда, просто неосознанная необходимость, а тут, совершенно свободный, был я во власти неистовой жажды познания, осознанной мною как необходимость.

Так вот, на мокрой и холодной улице города Вроцлава я уже почти отчаялся увидеть что-либо совершенно невиданное и потому несущее особенно мощный заряд информации, когда вдруг прочел в какой-то подворотне вывеску, а на ней было слово, по-русски очень мерзкое, но по-польски всего-навсего означающее название национальности. Конечно, оно и по-польски тащило за собой века трагедий, и слезы, и смех, много доблести, но еще больше позора. Вывеска сообщала, что во дворе размещается клуб «Стоважишениа жидув польских», клуб культурного еврейского общества. Поскольку заграничный клуб учреждение несколько странное и не похожее на наш Дом культуры с субботними танцами и лекцией по атеизму, я, конечно, полюбопытствовал, вошел во двор, повернул налево, потом направо и попал в тесное помещение клуба. За столиками в большой комнате сидели, как я потом выяснил, артисты самодеятельности, люди из Вроцлава и округи. Они, похоже, знали друг друга, потому что оживленно перебрасывались какими-то непонятными мне фразами, но на меня никто не обратил внимания. Я разглядывал маленьких белокурых девчонок и вспоминал, что бывают и такие вот белокурые разновидности моих соплеменниц. Потом я внимательно изучил программу праздничного концерта, который уже шел в зале по соседству, и убедился, что программа была точь-

в-точь такая, какой бывает программа на праздничном концерте самодеятельности в любом московском ЖЭКе: «Хороши весной в саду цветочки» и «Священная война», юмористическая песня «Полюбил я девушку курносую» и даже отрывок из поэмы «Василий Теркин». Внимательней прислушавшись к польским разговорам, я убедился, что, во-первых, концерт в клубе был посвящен «рочнице», то есть очередному юбилею могучего соседа, и что, во-вторых, все здешние евреи как раз и перебрались сюда с могучего нерушимого Востока, ставшего для них границей, и что они вдобавок испытывали неодолимую тоску по брошенному раю. К тому времени, как я это выяснил, сидеть одному за столиком мне стало скучно. К тому же холод ноябрьского вечера не уходил из меня, а все люди за столиками пили горячий чай. Мне подумалось, что мне чай не был положен, потому что я еще не успел проявить себя как польский еврей, но все же хотелось... Чай разносила очень полная курносая молодая блондинка, меньше всего на свете напоминавшая еврейку, что, впрочем, еще не дало бы никаких гарантий человеку на сей счет принципиальному.

Женщина передвигалась между столиками с большой сноровкой и ловкостью – собирала пустые стаканы, что-то говорила на ходу и так же на ходу принимала к сведению заказы, просьбы и комплименты. Во время одного из своих маневров она задержала взгляд на моем лице и с профессиональной безошибочностью поставила передо мной стакан прекрасно заваренного сладкого чая, который я стал пить с неприличной поспешностью. Потом я взял свой пустой стакан и пошел разыскивать кухонное помещение, где орудовала эта полная, курносая и до крайности симпатичная молодая женщина, моя благодетельница.

В тесной кухоньке она перемывала в тазу стаканы и ставила их на стол относительно чистыми. На мой вопрос, кому бы я мог заплатить за чай и у кого попросить еще, женщина беспечно махнула рукой и сказал, что чай можно пить за счет «Стоважишения жидув», так что она сейчас нальет мне еще, вот только покончит с мытьем стаканов. Она мягко отклонила мое вполне фраерское предложение помочь ей в мытье посуды, возможно, она по виду моему догадалась, что я перебью половину стаканов. Тогда со смелостью человека, путешествующего инкогнито, да еще и приехавшего с великого Востока, я спросил, не является ли прекрасная пани еврейкой. Точнее, высказал предложение, что пани не еврейка, и она подтвердила эту мою гениальную догадку. Так кто же? Женщина помялась и не ответила, еще более растравив тем самым мое любопытство. А потом я угадал, и правильно угадал. Она была немка, представительница презируемого вроцлавского меньшинства. Я спросил, случайно ли она поступила в этот клуб, и она снова промолчала. Можно было догадаться о чем-то, и я стал мысленно перебирать все трагедии этого Бреслау-Вроцлава – и польские, и немецкие, и еврейские. Немцев вывезли отсюда жестоко, в спешке, грубо запихнув в эшелоны. Уцелевшие после всех гонений евреи переехали сюда с Востока, чтобы снова стать гонимыми...

– Кого здесь все-таки больше не любят? – спросил я туповато.

– Они любят только себя, – решительно сказала пани Анна. – «Они» – это были бедные поляки, полагавшие, что именно они сейчас на коне. – А вот Юзек... – сказала пани Анна. – Он тоже немец.

Белокурый голубоглазый Юзек напевал в углу у рояля. Я прислушался.

– «Сережка с Малой Бронной и Витька с Моховой...» – пел Юзек.

Он выговаривал чужие имена с нежностью. «Каким странным ветром занесло молоденького немца в этот клуб с его ЖЭКовской самодеятельностью?» – подумалось мне.

– Садитесь на место, я принесу вам еще чаю, – сказала пани Анна.

Я думал о наших Сережке с Витькой, которые были уже зарыты в берег Вислы к тому моменту, когда Юзекowych родичей запихнули в эшелоны. Сережка с Витькой были тут, вероятно, ни при чем.

Помню, как я прочитал серию статей любимого журналиста Эренбурга, призывавшего к мщению, потому что ничто не забыто, кроме того, про что нам не рекомендуется вспоминать. И

дал себе зарок больше не читать никакой журналистики. Потому что если так, то как же стакан чаю, поднесенный мне пани Анной за счет «Стоважишения», ныне уже прикрытого польскими властями...

* * *

Если эта история показалась читателю недостаточно веселой, то это, может, потому только, что читатель не был на концерте вроцлавской самодеятельности и не слышал в ней юмористической песенки «Ох, неприятность!», спетой пожилым здешним евреем с тем же задором, с каким он много лет назад, еще не очень тогда пожилой, пел ее у себя на сахарном заводе под Тернополем на очередную октябрьскую годовщину, чем снискал аплодисменты всех присутствующих и любовь красавицы бухгалтерши, отчего песня эта особенно глубоко врезалась в его память (тем более что бухгалтерша, теперь уже, наверное, не такая соблазнительная, а все-таки, видно, еще ничего, осталась по ту сторону государственной границы, хотя это, конечно, не тридешатое какое-нибудь государство, а всего-навсего Россия). В песне этой говорится, что некий гражданин полюбил курносую девушку, которая, не являясь даже красавицей, проявляет к нему полное пренебрежение. Насколько могу вспомнить, юмористический элемент песни содержится даже не в этой вполне грустной ситуации, а в неуместном употреблении канцелярских слов в тексте...

* * *

Я плыл уже добрых пять месяцев на перегонных судах, куда нанялся матросом в том довольно зрелом возрасте, когда сверстники мои уже возглавляли учреждения или почивали, увитые лаврами, на каком-нибудь не очень новом городском кладбище. Я шел на судне самым что ни на есть обыкновенным матросом, существовал довольно безбедно из-за очень доброго и даже нежного отношения лично ко мне в частности и к русской словесности вообще со стороны простых людей, работников морского транспорта. Однако после аварии в Баренцевом море я для дальнейшего путешествия перешел на новое судно, где заслуги мои перед родной словесностью были совершенно неизвестны начальству, а возраст мой оставался незамеченным из-за всеобщей небритости и холода. Моя новая самоходка «Смоленск», буксируемая атомоходом «Ленин» через арктические льды, испытывала на этом участке довольно большие затруднения, а красноярский боцман, человек суровый, держал в большой строгости свою палубную команду, состоявшую, помимо меня, сплошь из восемнадцатилетних мальчишек – курсантов. И вот однажды, холодной и мокрой арктической ночью боцман вызвал меня на шлюпочную палубу и сказал, что хорошо бы сейчас спардек (так для красоты называют эту палубу знатоки) как следует подраить. После этого боцман ушел и оставил меня со шлангом, шваброй и размышлениями о бессмысленности существования. Было так темно, и мерзко, и ветрено, что я не мог подняться на какую-нибудь философскую высоту и потому размышлял не переставая о полной абсурдности своего занятия. И действительно – если взглянуть на это простым, поверхностным взглядом, – кому нужно в мороз, пургу и ветер драить спардек, если его тут же снова испакостит дождем и снегом, да и кто там увидит всю эту мразь на палубе, если на дворе полярная ночь, а главное – в днище судна все время лупят трехметровые льдины и, того гляди, пропорют обшивку. Проклиная тот день и, час, когда, наслушавшись песен, взывавших с совершенно нелепою страстью: «В дорогу, романтик!», а также прислушавшись к голосу крови и темперамента, заимствованного не то у «Вечного Голландца», не то у «Летучего Жиды», именуемого также Агаспермом, я нанялся в экспедицию и покинул на время свой нелепый, но вполне укладывающийся в обычные рамки, свой неблагодарный, но все же приятный письменный труд... Проклиная себя в первую очередь, но также и совратившие меня сред-

ства массовой коммуникации, я без конца швабрил и драил палубу, развозя по ней грязную жижу, с тем же усердием, с каким в былые годы развозил грязь по цементному полу казармы, сортира и солдатской столовой. Иногда, словно противясь судьбе, я вдруг останавливался, обтирал руки о телогрейку и записывал в блокнот какие-нибудь приходившие мне в голову и достойные внимания потомства ценные мысли. Кажется, я записал тогда, что драить палубу – это мероприятие не санитарно-гигиеническое, а воспитательное, так же как и мытье полов в казарме: может, соображение это избавит от всех тягостных размышлений бедняг, попавших в ту же беду. Впрочем, поверхностность этой мысли показывает, что я не мог тогда подняться до философского осмысления арктической действительности, и оттого физические мои страдания были безмерны. Так шло драгоценное межвахтенное время, которое в этой проклятой Арктике лучше всего посвящать безутешному сну в жарко натопленной каюте. Помнится, я патетически воскликнул на пустой палубе, что эта ночь, наверное, никогда не кончится, и тогда память подсказала мне школьные сведения о том, что арктическая ночь и вправду очень длинная, не в пример обычной.

В этом состоянии полного отчаяния и застал меня суровый боцман. Непонятно, зачем поднялся он на шлюпочную палубу: мысль о том, что он вдруг вспомнил о страдающем матросе, я склонен исключить как фантастическую. Остаются несколько предположений, не вызывающих возражений, но и не поражающих остротой догадки. Могло, например, случиться, что вода, стекавшая со спардека, попала на голову боцману, когда он, напрасно провозивший с гальюнным засовом, решил вопреки корабельным правилам помочиться прямо за борт. И вот теперь, поднявшись на спардек, он вдруг увидел сизифовы усилия напрочь забытого им матроса. Может, все было и не так, важнее другое. Важнее были те действия, а точнее, даже те слова, которые породило у него зрелище этих моих бессмысленных усилий среди полярной ночи. Над мотивами этих действий или слов следовало бы, верно, задуматься членам Союза писателей и членам Литфонда на всей территории от Черного до Баренцева моря, а также всяким социологам, психологам и другим накопителям фактов действительности. Ибо в этом высказывании, может, как раз и содержалось объяснение нерушимой жизненности народной жизни. Может, здесь и заключено было великое сострадание к меньшому брату, наряду с желанием утереть слезы ребенку. Хотя, конечно, в этом содержалось и обыкновенное пренебрежение служебным долгом, в чем неизменно попрекала служащий люд наша великая литература. Впрочем, что маленькому человеку, которого так любила наша великая литература и который стал по традиции героем этого повествования, подобный упрек... Так или иначе, в этот никем не отмеченный миг арктической ночи атмосфера полярного воздуха наверняка потеплела хоть на полградуса, потому что суровый боцман, находясь один на один с автором этих строк, произнес свои замечательные слова.

– Ладно, кончай, – сказал он. – Х... с ней, с палубой. Беги спать...

Еще сорок секунд спустя я уже был в теплой каюте и почти сразу уснул под угрожающий скрип судовой обшивки.

Глава 3

Когда солнце, и ветер, и неверная наша северная весна с неожиданными обмороками жары все еще силится перейти в лето, когда неистово трепещет на ветру листва молоденьких топольков, жужжит под окном котельная и бьется среди корпусов пластмассовая радиомузыка, тогда почти явственно чувствуешь, как уходят часы, не прожитые тобой на берегу синих озер, да и те, которые сумел прожить на их берегу, уходят тоже, и бессмысленность того, что ты с самого утра собираешься сегодня начать, – бессмысленность эта становится для тебя явной, а потому ты не начинаешь вовсе, но слоняешься из угла в угол, не в силах ни начать дело, ни преодолеть в себе окончательно этот гнусный порыв к делу, хотя давно уже тебе стало ясно, что

одно у тебя дело – прожить этот нынешний день без сожаления, тогда снова и снова глядишь ты на суматошный перелив тополевой листвы над грязным асфальтом и видишь в нем намек на утекающее время, попрек человеку, который спешит и не может остановиться, растрачивая в суете своего движения и это, словно бы выигранное спешкой, время. Хотя давно уже пора было бы взять за правило прерывать паузой всякое начатое дело, останавливать мгновение, ломать каждый маршрут, как только появляется в нем цель движения, потому что какая может быть у движения цель или цель у твоей жизни, кроме нее самой? Однако, энергичный человек, ты снова идешь в дорогу, бодро глотаешь километры и в бездумье делаешь бессмысленные круги, лишь поздней начиная сожалеть, что цель достигнута, а было так прекрасно где-то на полпути, и все твои «надо», все веления изобретаемого тобой «долга» – они от внушенного тебе кем-то испуга и навязанного движения. И вон они, мгновения твоих побед и твердых решений, вон они, точно коллекция черепков и черепов, сваленных в угол памяти, непригодных даже для туземного ожерелья.

Помню, была дорога через лес, вернее, тропинка, где видны были редкие следы ребячьих ног или вдруг собачьих – где же это было? А-а... Вспоминаю – мыза, Вошугово, блокпост...

* * *

От блокпоста я шел все лесом и лесом. Стрелочница сказала мне, что там недавно прошли школьники с собакой, так что я на мокрых местах искал их следы и, найдя, спокойно шел дальше. Потом открылось мне поле и в поле сарай. Я подошел к сараю. Там было немного сена, пахло цветами, травой и нагретой уже кровлей. Я прилег на сено и стал думать по эту Боровенку и блокпост и радоваться, что меня занесло в эту глушь. Я читал, что недалеко от Боровенки есть Лынено-озеро, а там где-то мыза «Утешенье», которой владели старики Берсы, тесть и теща Льва Николаевича Толстого, и что сам он приезжал сюда как-то летом, в одна тысяча восемьсот семьдесят девятом году. Не помню, что меня сюда занесло. То ли близость Боровенки ко всем этим прекрасным местам – Окуловке, Заозерью, прочим. Или то, что одна тысяча восемьсот семьдесят девятый. Этим годом датирована толстовская «Исповедь». Жил человек жил, и вот в расцвете этой жизни, когда и здоровье его, и семейное и материальное состояние позволяли радоваться, задумался над неисправностью всего, и собственной жизни в первую очередь. И мне казалось, что оттого, что вот я здесь же пройду, где и дорога-то почти нехоженная, а стало быть, не такая затоптанная, как в Ясной Поляне, может, я и увижу что-нибудь, замечу, пойму, наконец, для просвещения темного своего ума и просветления темной души. Так думал я в душистом сарае, в тени, прогретой солнышком, думал, пока не уснул, а когда проснулся, то увидел, что и проспал-то всего полчаса. Я зашагал дальше бодро и скоро дошел до деревушки Казань. В деревушке этой я пил молоко у какой-то бабушки, в просторной и пустынной ее избе, где обедал внук, а прочие избы показались мне и вовсе пустыми, даже клуб был забит навсегда за ненадобность. Бабка ворчала то ли для меня, то ли в пустоту что-то хитроумное про нынешнюю погоду, про плохую дорогу, про бессилие колхоза и неверующих людей. Я сказал, что иду к озеру Лынено, туда, где Вошугово, и она сказала, что этот вот ее внучек как раз из Вошугова. Мать его овдовела и там живет одна, отец от рака помер недавно, а внучек здесь, потому что тут блокпост ближе, а им от блокпоста каждый день в школу. Потом я простился и вышел, а бабка бубнила что-то свое, на сей раз про атомы, которые сильно людям портят жизнь.

От края леса мне сразу открылись внизу синее озеро Лынено и две-три серых избышки, а подойдя совсем близко, я увидел лошадь с плугом и четверых людей. Там был старик, один молодой мужичонка и две бабы в ватниках, одна помельче и помоложе, видать, пара тому молодому, а одна крупная, постарше, но тоже, впрочем, моложе моих лет, хотя и за тридцать. Они сажали картошку.

– Бог помощь! – сказал я, потому что они смотрели на меня во все глаза, и я должен был что-нибудь сказать.

– А мы давно думаем, кто ж это к нам может идти, – сказала та, что постарше, и посмотрела далеко вверх по косогору, пустынному до самой опушки.

И я тоже посмотрел вверх и будто увидел, как там движется моя красная яркая рубашка и черная голова, еще невиданные в этих местах.

– Вошугово? – спросил я.

– Совсем мало чего от Вошуговов осталось, – сказал дед и с облегчением присел на край поля. Видно, работа доставалась ему тяжело, а приход чужого человека давал законный передых. Я тоже присел на траву, и остальные расселись мало-помалу, только молодой мужик вроде как недоволен был перерывом и напрасной тратой лошадиного времени.

Деду было лет восемьдесят, и я, конечно, спросил про Берсов. Но он Берсов не помнил, в его времена мызу уже называли между собой Пилкино Утешенье, и владел ею адмирал Пилкин, отличившийся в молодости по части минно-подрывного дела. Дед стал вспоминать, как он полел огород у адмирала и сколько тогда платили за день. Потом он вдруг сказал тоненьким голоском:

– Забигяйте ваших баганов...

Это адмирал так говорил, изловив на своем поле мужицких баранов.

Старик важно погладил себя по пузу, прикрытому выцветшей рубахой, изображая сановного старца-адмирала. Женщины покатались со смеху.

– Дочь-то адмиралова вышла за инженера Гаврилова, корабли строил. Он после революции в Финляндии был, а она тут ждала. Подождала-подождала, что будет, и видит, дело плохое. Обула лапоточки себе и детям, да пошли туда потихонечку, в сторону Финляндии. Неизвестно, теперь где...

Молодой мужик встал, беспокойно посмотрел в нашу сторону. Старик откашлялся и встал тоже. За ними ушла молодуха.

– Ну, счастливо! – сказал я.

– А то оставайтесь, – сказала вполголоса та, что постарше. – Вон и дождик скоро.

Она сняла ватник, стесняясь, обтянула затрапезную кофту, небрежно обнимавшую пространство ее бабское хозяйство.

– Мы так, – сказала она. – По-рабочему...

– Надо мызу искать, – сказал я.

– А то потом приходите, – сказала она. – После.

– После я хотел на Боровеньку выйти, новой дорогой, – сказал я, потому что как гордый путешественник всегда имел свои путевые планы. Махнул рукой всем и пошел. Обернулся от леса и увидел, что эти трое уже не смотрят вслед странному человеку, а взялись за свою картошку, и только та, что постарше, еще глядит, натягивая телогрейку.

Я шел осторожно, потому что знал уже, что и дома Берсов нет, и мызы нет, и сарая, и более поздней школы, а только есть где-то остатки парка и березовой аллеи, про которую написал в дневнике Толстой. Я опасался пройти мимо и все же не прошел, нашел яму от школьного фундамента, а потом и аллею тоже. Была она страшно изъезжена тележными колеями, изломана ходьбой и грязью, да и березы многие обломились. Так что, погрузив с полчаса в этом сыром запустении, я двинул дальше вдоль озера и вскорости заблудился, потому что у самого озера тропки не было, а зайдя в лесную чащобу, я сразу потерял направление. Вышел я почему-то снова в деревню Казань, снова пил молоко у ворчливой бабки с ребенком, а вечером, добравшись до Окуловки, отчаянно искал ночлег, устраивал себе ужин и только, засыпая, вспомнил про ту бабу, что была постарше и просила остаться.

Ворочаясь на скрипучей и жесткой гостиничной койке, я представлял себе сумерки над озером Лынено, избяное тепло, жалостный бабий шепот:

– От рака муж-то мой помер. И что за раки такие к людям теперь привязываются?

Я слышал запах вареной картошки и потертой бабьей кофты. Точно ощущал ласку огрубевшей руки, тепло груди. Я и теперь их вспоминаю, когда чувствую, что чего-то не то сделал, не туда шел, а придя, бестолку торопился, суетился, искал, чего – не знаю сам.

* * *

Я верю, что можно воздвигнуть целую стену из неосуществленных намерений, составить библиотеку из ненаписанных книг... Верю в незавершенные и даже неначатые любви, в реальность, и силу, и красоту простого томления, впрочем, и мерзкого тоже – это правда... Но ведь не отречешься от того, что было, – и не скроешь; проклинаешь и все же думаешь с опаской, что все это может исчезнуть, скоро исчезнет. Придет день, когда скажешь с удивлением или с облегчением: было, и это было...

* * *

Было это в Будапеште, веселом городе-полуночнике, в ночном баре «Будапешт», проповедшем, как баня, посещаемом иностранцами, как правило, из «стран демократии», но похожем по разгульности на портовый кабак. Роль мастериц стриптиза тут исполняли толстоватые загнанные «герлс», отягченные идейной нагрузкой. Покрутившись на эстраде в купальничках минут десять и попотев изрядно в целях соблазна, они вдруг выносили из-за кулис серп с молотом или модель советского спутника и убегали, жизнерадостно сверкая ляжками. Вот ведь: простые заграничные бляди, а помнят о задачах идейного воспитания...

Наша туристическая группа гуляла здесь последнюю ночь и пропивала форинты, завалявшиеся в карманах после покупки пуловера и нейлоновых рубашек. За нашим столом были несколько венгров, которых привела с собой очень вальяжная журналистка из Москвы: здесь была не совсем уже юная дама, жена знаменитого венгерского доктора, который в войну спас кого-то от чего-то, был ее совсем юный сын и молоденькая девочка, кажется невеста этого сына. Скоро стало жарко, шумно и даже чуть хмельно. Немолодая жена доктора хотела непременно говорить со мной по-английски и даже порывалась гладить мне руку под столом, что было уже совсем лишним. А ее вошедший в пору зрелости юный сын вожделел нашу толстую журналистку, изобильное чудо из страны изобилия. Мне-то, помнится, приглянулась невеста этого сына, такая недоступная, непонятная, говорящая на своем прекрасном варварском языке что-то свое, наверно, удивительное и экзотическое (что-то вроде гюльдюбюль секешфехервар). У нее было какое-то длинное и оттого совсем уж не наше имя, то ли Анна-Луиза, не то даже Анна-Мария-Луиза, не помню точно...

По выходе из кабака обнаружилось, что кто-то недотратил пуловерные деньги, а жена доктора, воодушевившись, похлопала по ридикюлю, так что мы пошли все вместе в «Фейсек-бар», пустынное кафе артистов, где в три часа ночи все еще одиноко угасал над стаканом пива какой-то бедняга, однако добросовестно горела разноцветными огнями и бутылками стойка бара, позванивая на фоне, вякал что-то в микрофон старик певец, а у стойки в белоснежной манишке гордо стоял двухметровый красавиц – мэтр, бывший солист то ли будапештского балета, то ли парижской оперы, один хер. Пили мы «вюрмеш», приторно сладкий вермут, но все равно приятно были удивлены ночной добросовестностью работников сферы обслуживания.

А потом возвращались по ночной улице – профессорский сынок впереди с нашей дородною журналисткой, я сзади, с его девочкой, а еще дальше, где-то совсем позади, всем кагалом, наши разгульные туристы и мать-профессорша.

Девочка мягко прижималась к моему боку и трогала мою руку, может, у нее тоже было любопытство к нездешнему человеку, она была очень теплая, мягкая, и, главное, она ни единого слова не знала ни по-русски, ни по-английски, ни по-французски, а только что-то полупшептала-полувскрикивала на этом своем замечательном угро-финском, то ли убеждая, то ли прося, то ли доказывая. И я, помнится, был с ней наперед во всем совершенно согласен...

Потом шедшие впереди мальчик с журналисткой вдруг свернули в какой-то темный проулок, не оглядываясь и как бы желая от нас отделаться как можно скорее, и тогда мы, переглянувшись, тоже свернули в боковую улочку, только не в ту же, а в следующую, прошли проходным двором, минули еще один переулок и остались совсем одни в темном ночном городе на спящей улочке.

И тогда я обнял ее, а она потянулась мне навстречу и прижалась к моим губам влажным и очень мягким податливым ртом. Очень сладкий был этот рот, лепетавший время от времени какие-то загадочные слова на варварском угро-финском наречии. И вся она была мягкая, податливая и обмирала, прижимаясь ко мне у меня под пальто. Так мы стали продвигаться очень медленно по темному переулку, то расходясь, то сливаясь у меня под пальто, тоскуя по укромному уголку, тоскуя по убежищу и крыше над головой. У нас в Москве мы, наверное, зашли бы в первый же подъезд, но в этом чужом городе все подъезды были заперты на ключ, и у меня не было ключей от них, так что нам оставалось только целоваться на улице, обнимать друг друга, добираясь на ощупь туда, куда не проникала немая наша речь и куда она не смогла бы проникнуть, будь она в тысячу раз красноречивей.

Как и множество раз до того в разных городах, на Севере или на Юге, я томился неосуществленным желанием, и томление это было сладким. И было не важно, что эта Анна-Луиза или Луиза-Мария, теперь уж не помню как ее, ни слова не понимала по-русски, она хотела того же, что я. Где она теперь? Все так же стройна ли? Все так же мягок ее рот? Даже в этом случае она вряд ли помнит ту ночь на улице – подумаешь, роман. Подумаешь, томление и желанье, неосуществленное к тому же. Я все еще верю, что можно воздвигнуть стену из этих вот незавершенных любовей, неосуществленных желаний и намерений, из ненаписанных книг.

Что вообще означает осуществленность намеренья? То, что ты взял да испортил неумелым касанием тонкий план предначертания. Осуществил самую ничтожную малость его, да и то наспех и грубо, получив ложку чечевичной похлебки из волшебного варева судьбы. То, что ты получил надменную сытость взамен бесконечного разнообразия голода. И еще вот этого, самого, наверно, ценного: тонкого привкуса воспоминанья – во рту, на чувствительном небе, в кончиках пальцев. То, чего не воспроизвести никогда и не вспомнить достаточно ясно, даже ежели прыгнешь вдруг в погоне за пережитой радостью в ту же самую постель, выйдешь на тот же озерный берег, прорвешься к тем же словам или стонам. Вспоминай же, друг, береги сонное хранилище своей памяти, остановись в беге своем и раскрой амбары, куда, как скупой рыцарь, все сносишь и сносишь ощущения, распродавая себя по частям календарю, месяцам, дням, годам и необъятным просторам. Вспоминай горячую истому Востока и северные блеклые ночи, душные комнатки гостиниц и горные ущелья, лыжный накат мартовского умирающего снега. И бревенчатую тоску родной и нежно любимой твоей мачехи, русской деревни.

* * *

Помню, я решил на целый день остаться в этой северной деревне, притаившейся у края леса и озера, в переплетенье речных протоков, в окружении деревянных почерневших банек, островов сирени и старых курганов. Бросив рюкзачок в чьих-то прохладных сенях, я все утро бродил налегке, переходил вброд через потоки, шел по песчаным отмелям. А потом вдруг увидел двух скупавших на отмели девчонок в городских купальниках – две девочки, крупные, загорелые, русые. Одна читала книжку, другая просто дремала в истоме у самой воды. Мы

заговорили с ними сразу, словно продолжали старый и пустой разговор: перекидывались мало-значущими словами, лениво шутили, и я глядел на их милые лица, на остров сирени за бугром, на синий бор, на маленьких рыбок, которые стайкой паслись у самой кромки песка. Старшая нравилась мне больше, и я полушутя сказал, чтоб она приходила сюда в полночь, вон к той сирени. Она усмехнулась дружелюбно, и мы простились.

Долго длился солнечный томный день на берегу озера, в бору, на черной протоке, среди водорослей, а потом подошел вечер с мычанием стада на деревенской улице, с неторопливыми разговорами у чьего-то рыбацкого костра. За полночь я вдруг вспомнил о сестрах и дневном уговоре, без особой надежды пошел к густой сирени и там их увидел. Они ждали, поживаясь от речной прохлады.

– Ну, я пойду, – сразу сказала младшая и ушла.

Мы остались со старшей, сидели над протокой, беседуя неторопливо про эту их деревню и про город Ленинград, где она зимой работала на заводе и жила в общежитии. Обняв ее, я понял, что она ждала этого, потому что сразу вдруг сникла, ослабела, привалилась ко мне, а потом легла в цветы, и я испытал волнение и благодарность, так, словно было все опять в первый раз, было неожиданно, как чудо, почти невозможное. Потом стало зябко, и я проводил ее до околицы, а сам вернулся в свою избу задами.

Рано утром пришел пароход, и я уплыл, так и не увидав ее больше, уплыл, словно сбежал или словно мне было зачем плыть дальше. Потом, в сумрачных лесах, на заросших тропках, на случайных ночлегах я вспоминал и эту белую кромку песка, и красный купальник, и загорелое тело, и торопливую ласку. Я так ничего и не узнал о ней, ничего, похоже, не получил и все же был полон благодарности, которой никогда не выскажу до конца. А ведь если и выскажу, она сейчас не услышит. Да и где она сейчас, кто она, и как воссоздать снова все, что так неожиданно сложилось – из загорелого тела, белого песка, синей протоки, из истома летнего дня, из красных бликов от купальника на воде и стаи мальков на отмели...

Примечание редактора

Поскольку в записках Зиновия Кр. и в дальнейшем могут встречаться подобного рода истории, Редактор считает своим долгом оговорить здесь свое отношение к этой несвойственной для нашей литературы тематике, которая конечно же не должна появляться в печати, создавая неправильное впечатление о половой невоздержанности, якобы царящей среди наших простых советских людей. Наша литература всегда была образцом нравственности, что усилилось в последние десятилетия, когда такой кристальной чистоты достиг моральный облик Нового Человека, являющий ныне пример всему цивилизованному миру. И в любом произведении, которое попало бы нам в руки для издания, Редактор не преминул бы сделать соответствующие купюры, указав любому автору, что для нашего нового героя нет места пошлости, цинизму и нетоварищескому отношению к женщине. Однако при издании этих записок Редактор столкнулся с уже указанной выше трудностью: они ведь и не являются в строгом смысле литературой (хотя автору их, злосчастному моему другу Зиновию К., порой и кажется, что да), а потому как бы не подлежат настоящему серьезному редактированию. Их можно было или запереть в долгий ящик, или издать как некий памятник другу, закрыв при этом глаза на некоторую безнравственность, композиционные и идейные промахи, алогизм и слабую стилистику. На этот последний путь и толкнула Редактора верность его дружескому долгу. В то же время самый факт издания этих записок никак не говорит о том, что Редактор – в любом другом случае истинного редактирования – позволил бы себе притупить или ослабить чутье, пойти на поводу или скатиться до ползучего следования материалу. Время всех этих мелкобуржуазных экивоков, вроде «о вкусах не спорят», прошло безвозвратно, литература наша давно уже не служит скучающей героине, а всеми фибрами души, всеми корнями уходит в массовую почву,

она должна быть понятна массам и любима последними. Это, конечно, исключает всякую расхлябанность, бессюжетность или пресловутую антигеройность, которыми – чего таить – вполне могли бы грешить записки Зиновия Кр., притязай они хоть сколько-нибудь на то, чтобы стать в ряду произведений нашей боевой литературы. И если читатель будет помнить об этом особом безответственном и непритязательном месте, занимаемом данными записками, то он без особого вреда для себя может продолжить чтение.

* * *

Иногда перелистывая записную книжку, я натываюсь на тех, кому уже больше нельзя позвонить. Вот ведь совсем недавно записал телефон, думал, позвоню, поговорим: «Звони», «Позвоню обязательно, вот только...» Теперь им позвонить уже нельзя. Наверно, они тоже думали позвонить мне и еще кому-то... На год раньше, на год позже вычеркнут и мой номер. Иногда думаешь, что *там* могло бы быть хорошо, *там* много хороших людей, *там* полузабытая чудесная бабушка, *там* мама. *там* есть милые собеседники... Но разве *там* – это институтский коридор куда мы выходили поболтать в перемену из разных аудиторий? Может, *там* – это разные миры, где уже никогда не встретиться. Так или иначе не может же быть, чтобы не было *там*. А тогда странно думать, что *там* не встретимся. Впрочем, почему ж странно? Даже ученики, исключенные из одной школы, даже солдаты, вышедшие на волю из одной части, и те не всегда встречаются.

Нет уж, не встретиться... Так что если не позвонил, не зашел, это непоправимо, это утрата – как нынешний невесть куда промелькнувший день.

Страшно переходить туда, потому что здешний мир соответствует нашему идеалу прекрасного и мы еще надеемся насладиться здесь этим прекрасным. А может быть, не надо так уж сильно бояться? Может быть, вид охладевшего тела твоих близких напрасно пугает тебя утратой этого материального, телесного благополучия. Может, именно там, освободившись от этих ежечасных забот – то есть надо, то пить, то хочешь женщину, то хочешь писать, то дозреть хочется писать, то холодно тебе, то чешется, – может, именно там обретем мы небывалую ясность мысли и прозрачность ощущения...

Так представим себе просто, что близкие наши ушли, уехали куда-то, в другой мир, откуда ни написать, ни позвонить. Конечно, можно жалеть себя, что лишен общения с ними, но не следует приходить в отчаянье от того, что они не пользуются благами именно этой, единственной нам знакомой системы...

* * *

Помню, я был тоненький, маленький и загорелый, слишком маленький для своих пятнадцати, для предстоявшего мне восьмого класса и для успехов в моей любви к хозяйской дочери, вполне зрелой девице, еще и не принимавшей меня за особь другого пола. В дачном поселке было пусто, особенно пусто днем, когда почти все уезжали на работу в город и я один бродил по участку среди кустов, предоставляя младшей сестре заботиться о самой маленькой, третьей...

За штакетником забора весь день хромал, опираясь на палку, пожилой человек, снимавший дачу по соседству и остававшийся один на весь день. Теперь я, кажется, лучше понимаю, что все это значит – и его хромота, и рука, висящая как плеть после первого взрыва в мозгу, не выдержавшем напора жизни; и его работа за столом в пустом доме, оставленном всеми, кто еще мог уехать. Наедине с книгами, с машинкой, с уколами совести и пугливыми мыслями, с одиночеством вечернего ожидания электрички, когда уже могла бы вернуться, но отчего-то не возвращается из города его очень занятая жена-актриса, вполне еще молодая женщина. Но тогда я ничего этого не понимал и даже не знал, что сосед мой – известный критик, написавший

множество книг. Кто-то упоминал, что он пишет что-то литературное, однако фамилия его не была мне известна, хотя мне и предстояло, как я уже догадывался, прославиться в этой самой литературе, потому что даже тогдашние мои стихи, посвященные хозяйской дочке, были куда как прекрасны. Конечно, я много читал в то лето, как и всегда, с тех самых пор как научился читать. С утра я очень внимательно читал газеты, а потом читал книги, детские или взрослые, чаще всего современные книги, по большей части книги о том, как новый, самый совершенный в мире порядок восторжествовал в нашей стране над старым, очень несовершенным и гнусным, поэтому я и не ударил в грязь лицом, когда хромой сосед, уже не раз обращавшийся ко мне с ласковым приветствием через штакетник, в то памятное утро окликнул меня и подозвал к забору, где он стоял, опираясь на свою палку и шелестя листами утренней газеты. Лицо у него было грустное, впрочем, как всегда, когда он глядел на мои ребра, обтянутые загоревшей дочерна кожей. Пожалуй, в тот раз еще более грустное, чем всегда.

– Вы читали? – спросил он, пошевелив зажатой в руке газетой.

– Читал, – сказал я с достоинством.

Конечно же я прочел, рано утром прочел – и про Зощенко, и про Ахматову, и про журналы «Звезда» и «Ленинград» – что за дураки выпускают такие журналы, что за дураки в них пишут, не знающие, как нужно писать и как можно писать и как делать это хорошо.

– Ну и что? – спросил мой сосед. Он, кажется понял по выражению моего смазливового лица, что напечатанное в газете мне здорово нравится, так сказать, наполняет высоким чувством. – Но он ведь хороший писатель Зощенко... – осторожно сказал сосед. И добавил почти умоляюще: – Ведь смешной.

– Вот именно, – подтвердил я со знанием дела. – Вот именно, что смехач. Это голое смехачество и хулиганство... Хулиган.

– Да, конечно, – кивнул сосед и вдруг заковылял прочь от забора. Он доковылял до яблони, остановился, глянул через плечо, потом заковылял дальше.

А я побежал по своим пацанским делам, вдохновенно перебирая в памяти с утра меня обогатившие литературно-критические мысли о том, что так все же нельзя, как ихний Зощенко, потому что это клевета на нашу действительность, про какую-то там обезьяну, хотя я про нее еще не читал, но все же это настоящее хулиганство. Или взять эту Ахматову, которая металась между молитвенной и будуаром, в то время как надо было метаться где-то еще, вместе со всем народом, хотя про нее было не так понятно, как про этого Зощенко, – шлюха она была, что ли? Настоящая блядь...

Прошло совсем немного времени после этого, и я, все еще очень худенький и очень загорелый, однако уже студент, прочитал в газете про нашего дачного соседа с нелестной фамилией Гурвич – что он и был гнусный космополит и даже признавался кому-то в юности, что его любимым произведением с детства был «Гамлет». Я почти забыл к тому времени наш утренний дачный разговор, почти забыл дрожащую газету в его руке, но вдруг вспомнил все это позднее, когда мне сказали, что бывшего нашего соседа хватил то ли второй, то ли третий удар, так что он и вовсе покинул эту юдоль печали и творческих ошибок, а я подросток немного, хотя все еще был и худенький, и загорелый. В общем, мне вдруг вспомнилось все, и я очень хорошо представил себе, как он ковылял по садовым дорожкам с этой страшной газетой, с предчувствием беды, с неизбежным страхом. Я подумал, что ему хотелось поделиться с кем-нибудь своими страхами, услышать человеческий голос, но наткнулся он на мой ясный и бессмысленный взгляд... Что ж, правильно. Разве можно так хулиганить, как этот Зощенко? Еще и советский писатель...

Глава 4

Ах, какую чудесную, поистине сказочную я избрал себе сферу деятельности, таинственную и неподвластную теории, как алхимия, соблазняющую, конечно, изрядной долей мошенства, когда хочется показать миру результат исследования (а его нет и быть не может), но зато дающую столько бескорыстной радости от самого бульканья зеленоватой влаги в реторте памяти, от осязания запахов прошлого и ощущения странной тяжеловесной жидкости на ладони – какой не бывало ни у кого раньше, да и не должно было быть по всем расчетам науки... А какая гордыня бессмертия, надежда на оживающий в моих строчках дух, который будет передан другим людям, тем, кто тебя и не знал никогда, позже, конечно, передан – через десять, тридцать, а может, и сто лет. Чем заслужил я удивительную эту возможность – вот так, без посредников получать то, что входит в меня извне, свыше, снизу и еще неизвестно откуда, получать вот в таком, хоть и обедненном, даже извращенном слегка виде, а потом передавать кому-то словом, запечатав в строку, чтобы удержать, сохранить. Пусть даже самую малость сохранить, не стоящую чужого внимания чепуху, мелочь, брошенную кем-то на дороге или, еще меньше, – свою разнеженную слезу от летнего вечера, когда вдруг так странно, от невидимого луча солнца, покраснеет и засветится ствол сосны.

И мне не приходится испрашивать разрешения писать на самое высокое имя, я сам избираю высочайших адресатов моего письма. Скажем, родина или Бог. И при этом я сам ограждаю их от мошенников, которые тоже хотят быть с Ними накоротке.

Я не признаю ничьих привилегий. Потому что я знаю Тебя лучше. Впрочем, знаем мы лишь настолько, насколько любим. А уж любви-то к Тебе и надежды мне не занимать – всякой, и робкой, и застенчивой, и полной ужаса неизбежности.

Ну а что я успел разглядеть, услышать? Лепет старушечий, бессмысленный и добрый? Но порой – озверелый тоже... Пьяный в городском сквере, целующий грязь в забытии праведника? И Малюсенький Человечек, сын Маленького Человека, в лабиринте белых твоих берез?

Если отыщется у меня вина перед Тобой, никто, кроме нас с Тобой, не разглядит ее и не посмеет судить. Вообще, без меня Ты уже неполна, нет Тебя такой, какая Ты есть. Уж тут не до скромности, прости...

Писать ли про то, как любят меня дряхлые старухи и старики в заброшенных твоих деревнях, как благословляют меня на прощанье. Должно ли писать о том, как сливаются для меня с этими бревенчатыми деревнями и штакетник дачного забора, и деревянная развалюха в Москве на Банном близ Мещанки и Переславки? Там, где мы жили два десятка лет – несравненная моя мамочка, отец, младшие сестры, отцовский брат, а после войны и дедушка с бабушкой, все в одной комнате. Всего-то жилплощади было четырнадцать метров, но какой площади. Бесценной, московской...

Конечно, все четырнадцатиметровое пространство было заставлено какой ни то мебелью: квадратный стол, шкаф, две наши с сестрой детские койки, одна большая родительская, двухспальная, а сперва еще и одна сиротская, отцовского младшего брата Нени. Ненина койка стояла под телефоном, в каких-нибудь трех метрах от брачного ложа моих юных родителей, так что, полагаю, бедный Неня был умиленный свидетель моего и сестры зачатия, если только нас не нашли в капусте или не принесли аисты, что редко случалось в бедных еврейских семьях, где детей делали сами.

Поговаривали позднее, что Неня был слегка ненормальным на сексуальной почве. Вероятно, так оно и было, если тем более принимать за эталон нормальности нашу собственную рассеянную гетеросексуальную жизнь. Так или иначе, у Нени были условия для чего угодно, кроме нормальных отношений с женщиной (коль скоро мы примем именно это за образец нормальных человеческих отношений).

В свободное время Неня играл на скрипке. Окружающие были недостаточно начитанны, чтоб называть это сублимацией или вспоминать шопеновскую сексуальную бухгалтерию (одна палка – две мазурки). Попросту говорили, что Неня свихнулся на сексуальной почве. На почве неразделенной любви к женщине с накрашенными губами. Я даже помню эту женщину. Неня привел ее однажды, когда ни родителей, ни нашей домработницы Моти не было дома. Он принес в тот вечер корзиночку с пирожными (чем редко баловал нас наш скудный дом) и предложил мне выбрать себе пирожное по вкусу. Я выбрал наугад так называемую «картошку»... Боже, какие мелочи остаются нам от событий невозвратимой давности. Еще я помню, что они оба ласкали меня по очереди. Оба они ласкали меня, и я находил это естественным – я был прелестным ребенком. Теперь я без труда могу представить, о чем они мечтали тогда оба. О том, чтобы я провалился к чертовой матери и любовь их стала наконец реальной. Но я никуда не ушел. Мне было интересно. Я даже не пошел во двор погулять. Я сидел с ними до самого прихода родителей, и, может быть, этот день вписан первым в толстую книгу моих грехов.

Впрочем, тогда никто в семье и не подумал меня попрекнуть чем-нибудь. Никто не жалел этого мишугинер Неню, ибо кому было до него дело. Мир был занят каким-то великим созданием, очищением рядов партии... В то великое время, когда все внимание общественности приковано к коллективизации с индустриализацией (Боже, сколько их было еще, этих пахнувших кровью слов!), кому интересен был бездомный поц, не умевший разрешить свои собственные половые проблемы?

Позднее Неня и Дода на двоих снимали комнатку в трущобах на Трифоновской улице. Они так долго жили в этой комнатке, что даже стали претендовать на «площадь» и много лет судились на этот предмет со своей старухой хозяйкой, пожалуй что и до самой войны. Потом старуха померла, они погибли, а трущобу эту снесли...

По воскресеньям Неня и Дода приходили обычно со своей Трифоновки к нам в гости. Похоже, им больше некуда было пойти, хотя родителей чаще всего и не было дома в те дни. Наверное, Неня любил меня, но мне это было тогда безразлично. Теперь мне жалко этой любви, которая рассеялась где-то в напоенном кровью довоенном воздухе. Впрочем, откуда знать – не сидит ли у меня где-то под кожей ласка женственной Нениной руки.

Высказав сожаление, что родителей нет, Неня и Дода забавлялись со мной и часто смеялись до колик. Мы шли на кухню. Там, на русской печке, за ситцевой замасленной занавеской, спала домработница Мотя, двадцатилетняя девка из деревни. Представляю, как они вождели ее молодых прелестей, бедные Дода с Неней. Они отправляли меня на печку посланцем их томления.

– Зямка, а ну, Зямка, – ржали дядя, – полезай на печку, поищи-ка у Моти бейцэм!

Юмор у них был вполне раблезианский, местечковый. Поздней я пытался усовершенствовать его на службе в армии, в плаванье на перегонных судах, в бесконечных своих скитаниях по России, так что он, похоже, потерял белорусскую местечковую терпкость.

Помнится, я был в подмосковном пионерлагере, когда началась война и отец с тремя братьями ушли в ополчение, понятное дело, добровольцами. Я долгие годы представлял себе эту картину: как москвичи добровольно бегут в военкоматы, в едином порыве, вместе со своей страной. Теперь начинаю выуживать из памяти какие-то подробности. Дед с бабкой говорили мне позднее, что Юда в конце концов мог бы и не пойти: он был инженер, и ему было за сорок. Растил бы своих детей. Неня, тот вообще был больной. Болел бы себе помаленьку. Про Доду они рассказывали подробнее. Он работал нормировщиком на военном заводе. Парторг цеха сказал Доду в минуту искреннего раздражения:

– Никогда-то вы, жида, не воюете!

И гордая Додина кровь взыграла.

– Запишусь, – сказал он парторгу, – но только вместе с тобой, сволочь!

Ах, эта национальная узость. Отождествление мелкого народного предрассудка с расизмом и подлостью. Но что вы хотите, Дода ведь тоже не учился в парижской Эколь Нормаль (учебном заведении, где теперь так высоко ценят открытия Лейбы Троицкого). Обычная нацменская уязвимость...

В общем, они пошли оба и записались в ополчение, Дода и этот парторг. Парторгу все же легче: он погиб, отстаивая высокие принципы, которые восторжествовали в отвоеванном, лучшем мире. К тому же он оставил кучу маленьких ребятишек для продолжения своего рода. А кто продолжит Доду? Кто может вспомнить его, наконец, если он стерся почти начисто даже из моей памяти патриарха. Помню только, что он был высокий, носатый и добродушный. И что имя его меня смешило – Дода...

Дода, и Неня, и Юда погибли где-то под Вязьмой, одновременно, в такой свалке, что имена их даже не попали в списки убитых, а только пропавших без вести. Впрочем, тем, кто интересуется этим сражением, лучше читать воспоминания генералов. Это правдивые и солидные книги, они выходят большим тиражом и содержат в себе немало героического.

Я так и не стал ничего выяснять про это сражение под Вязьмой. Ну бежала до самой Вязьмы и даже до северной московской окраины армия великого Гуталина. Ну остановились немцы, иссякли, перебив полстраны... Но еще полстраны оставалось...

Гораздо больше занимала мое воображение половая неустроенность моих молодых дядьев, особенно Ненина. В нежную пору молодого разгула, лежа обессиленный где-нибудь на сеновале в Средней России, я от усталости, нежности и сытости шептал в потолок щедрые, бессмысленные слова:

– На, возьми ее себе, Неня... Она хорошая, она милая... Тебе будет с ней хорошо...

Я еще был уверен в ту пору, что все мы должны дополнить то, что нам недодано. Что Нене недостаточно было его ночного подслушивания, его дневного томления и его скрипки.

Вот вам и судьба героических предков. Ничтожных винтиков в великой машине войны и террора. Именно так определил их скромное место великий Гуталин. Он сказал, что эти людишки держат Его, заоблачного сухорукого коротышку, как основание держит вершину. Если вы помните, мне тоже довелось быть винтиком. Служить в его великой армии совсем простым солдатом, солдатом... В армянском городке Эчмиадзине. До сих пор помню солдатскую жизнь. Но что в ней могло быть интересного, в солдатской? Вот офицерская или хотя бы старшинская. Вспомнить хотя бы второй брак старшины Гамлета...

* * *

Старшина Гамлет Мнацаканян был сверхсрочником и ведал складом ГСМ (что в переводе с армейского на русский означает горюче-смазочные матерьялы). Гамлет был молодой, симпатичный и чуток нудноватый армянский мужик. Имя датского принца досталось ему по новой армянской традиции. Впрочем, в паспорте он был записан как Амлет. На нашей окраинной эчмиадзинской Четвертой улице этим никого нельзя было удивить. У сапожника Леона сыновей звали Эдмунд, Радж и Альфред, а дочерей Джульетта, Розамунда и Джемма. Гамлетов же и Амлетов (милицейский вариант Гамлета) в окрестности была добрая дюжина.

Гамлет Мнацаканян давно вступил уже в пору мужской зрелости и томился безбрачием, растравливаемый на службе солдатскими рассказами о веселой ебливой России. Никаких традиций внебрачного сожительства в нашем пристойном Эчмиадзине не было, так что Гамлету предстояло жениться. К тому все шло. Вопросам предстоящей женитьбы посвящены были теперь все досужие разговоры на складе ГСМ. Заметно было, что, хотя Гамлету хочется жениться, его несколько удручает предстоящее ограничение свободы, потому что вместе с женитьбой уйдут обильные возможности, о которых так смачно толкуют солдаты из России. Тем более что Гамлет на самом деле уже один раз женился. Он посватался к учительнице Гале

из Паркара, подарил ей золотые часы и даже была свадьба. Хотя мы, солдаты, не были на свадьбе, мы все знали эту историю, потому что вслед за свадьбой на Четвертой улице, примыкавшей к части, разразился шумный скандал: учительница Галя оказалась не девушка. Как уверял нас Гамлет, семья у него была образованная и никто не вывешивал на дувале брачную простыню, однако печальное открытие, сделанное Гамлетом, получило огласку и вскоре последовал разрыв между молодоженами. У меня сложилось впечатление, что разрыв этот не был для Гамлета вовсе не желательным: уж больно часто он жаловался на обман. Создавалось впечатление, что Гамлета пока привлекает не одна конкретная женщина, а женщины вообще. Так или иначе, Галя уехала назад, в Паркар, где вернулась в школу, а разборчивый старшина Гамлет снова стал женихом. Вот тут-то его и настигла большая любовь. Как только он увидел Вальку, новую вольнонаемную секретаршу из хозяйства. Мне лично довелось в первую неделю и еще потом, почти до того дня, как Гамлет запретил ей работать, обучать эту соблазнительную блондинку нехитрой писарской работе, так что Валькина история известна мне из самых первых рук.

Она жила раньше на окраине Ростова и дружила со многими армянскими ребятами из Нахичевани Донской. Лучшая ее подруга Люба исчезла однажды куда-то на все лето, а потом вдруг прислала Вальке восторженное письмо из прекрасного Еревана, города знаменитых армянских коньяков и щедрых черноусых мальчиков. Люба звала Вальку к себе, и Валька уехала в Ереван, где устроилась работать на центральном телеграфе. Там была у них развеселая, хотя и несколько однообразная по характеру развлечений ереванская жизнь, которая способна была разрушить и каменное здоровье. Валька через год этой изнурительной жизни стала задумываться о покое, семье, законном браке и даже деторождении. Она перешла на работу к нам в часть, и тут как раз подоспел Гамлет со своим предложением. Надо сказать, что он просто оторопел, увидев это светловолосое голубоглазое русское чудо, и сразу заговорил о браке.

Однажды, в пору своего ухаживания, Гамлет рассказал Вальке историю своего первого, неудачного брака и привел ее этим рассказом в полнейшую растерянность, потому что воспоминание о собственной утраченной некогда второпях невинности давно уже не смущало ее покой. Валька поделилась своим недоумением с подругой, и Любочка ее успокоила, сказав, что не стоит даже думать о таких пустяках, потому что одна знакомая тетка в Ереване за гроши сделает им эту невинность при помощи красных чернил – пусть, если хотят, вешают эту свою поганую простыню хоть на площади Абовяна...

Вышло так, что опять никто никуда простыню эту не вешал и, сказать по правде, неожиданной этой Валькиной невинностью Гамлет был даже несколько озадачен. В общем и целом новая свадьба прошла на высоком уровне, и Валька водворилась в домике с плоской крышей на Четвертой улице Эчмиадзина. В доме хозяйничали три темнолицые старухи в черном, а мужское население было представлено только самим Гамлетом да еще фотографическим портретом солидного мужчины в визитке, который давно уже покинул этот плоский кров для какой-то иной, вероятно, более возвышенной жизни.

Некоторое время Валька продолжала работу у нас в войсковой части 48874. Характер у нее был такой общительный, свойский, что за месяц она перезнакомилась чуть не со всем личным составом. Хотя знакомства эти носили вполне невинный характер, иные из военнослужащих с такой хамской солидарностью улыбались теперь Гамлету, как будто уже имели особый доступ к его брачному ложу. Неудивительно, что взбешенный Гамлет забрал Вальку из части и в дальнейшем пресекал все ее вялые попытки трудоустройства. Для Вальки потянулись нескончаемо долгие и ленивые месяцы замужества – за глиняным дувалом, под плоской крышей дома или под развесистым тутовником в саду.

Гамлет уходил на работу, а Валька оставалась в обществе старух, ни слова не понимавших по-русски. Она томила от жары и безделья, сонно слонялась по двору, собирала тутовник и абрикосы, жевала лаваш с луком и выпивала перед обедом и после обеда стакан, другой, третий

кислого сухого вина. Однажды, в разгар нестерпимой июльской жары, она придумала себе развлечение, взбудоражившее всю Четвертую улицу. Она разделась до трусов и стала обливаться водой под тутовником. Низкий дувал не скрыл от соседей эти невинные игры, и вскоре вся Четвертая улица пришла в неистовое возбуждение. Гамлету об этом донесли, он прибежал из части весь потный, красный, и потом на него жалко было смотреть всю неделю. В домике у них стоял немолчный старушечий визг, но Валька так и не поняла, из-за чего весь этот иноязычный гвалт.

После этого случая вся Четвертая улица окончательно утвердилась в мнении, что у Мнацакониана жена шлюха. Что касается русских военнослужащих, то у них на этот счет никогда не возникало потребности в подтверждениях.

После инцидента с обливанием Валька продолжала томиться бездельем и, с умилением вспоминая былую ростовскую и даже недавнюю ереванскую жизнь, подвергла ревизии распространенные девичьи представления о законном браке.

Однако в одно жаркое воскресенье в начале августа Вальке выпала нечаянная радость: к ней приехала в гости подруга Люба.

Гамлет в то воскресенье работал – полковому начальству время от времени приходило в голову, что шестидневное ничегонеделание не могло исчерпать наших творческих ресурсов, и тогда воскресенье объявлялось вдруг рабочим днем. А может, причина подобных решений крылась в ином. Может, большинству женатых офицеров самая мысль о том, чтобы в воскресенье остаться дома, была противна? Солдатского мнения на этот счет никто не спрашивал.

В общем Гамлет с утра убежал в часть, а Валька с Любочкой ворковали под тутовником, поверяя друг другу события своей столь по-разному сложившейся жизни. Валька с жадностью расспрашивала о Ереване, об общих знакомых, а Любочка живо интересовалась семейной жизнью и говорила, что ей вся эта суета надоела и что она мечтает выйти за русского солдата по большой любви.

Эчмиадзинский полдень раскалился между тем добела, и даже предметы, сделанные из более стойкого материала, чем мягкая плоть, покрытая светлой кожей, стали выказывать первые признаки плавления.

– Исккупаться бы где-нибудь, на Дону, на Зеленом острове... – мечтательно сказала Любочка, и тут Валька вспомнила, что где-то совсем неподалеку от них, за эчмиадзинской резиденцией католикоса, есть древний бассейн, построенный еще Бог знает когда. Перспектива купания показалась подружкам столь желанной, что они не медля отправились на поиски этого знаменитого бассейна. Он и правда лежал неподалеку от их дома, обширный, великолепный бассейн, осененный листвой старых деревьев...

Подружки быстро разделись и с разбегу плюхнулись в воду.

Это было истинное блаженство – нырять, и плескаться, и плавать наперегонки с симпатичными мальчишками-школьниками, и визжать в свое удовольствие...

Казалось, конца этому не будет, так что прошло довольно много времени, прежде чем Валька с Любочкой заметили: на берегу возле их платьев собралась изрядная толпа местных мужчин. Тогда-то до их сознания дошло, что они здесь единственные женщины и что вылезать и подходить к своей одежде в трусах и бюстгалтерах им будет не слишком удобно.

Валька вдобавок поняла, что она опять совершила какой-то промах и что ей снова придется оправдываться. Но она не знала еще, в чем она должна будет оправдываться, да, честно говоря, и не хотела знать. Пока они одевались под крики и улюлюканье, ею все больше овладевало упорное озлобление. В таком настроении, простившись с Любочкой на остановке автобуса, она одна побежала домой, навстречу своей судьбе.

Вскоре прибежал домой и Гамлет. Он уже успел из части сходить к бассейну, не застал их там и теперь прибежал домой, яростный, растерянный и жалкий.

Нужно обладать средствами большого симфонического оркестра, чтобы достойно передать атмосферу, царившую в тот вечер на Четвертой улице в маленьком доме Мнацаконианов. И не только средствами, но и талантом. Вот если бы Булез или Шонберг...

Кончилось тем, что Валька, в чем была, выскочила за калитку сада и побежала прочь из города, за храм Рипсима, на шоссе, где стала махать рукой всем проходящим машинам, ловя попутку на Ереван... Помню, как Гамлет, совсем потерянный, прибежал в часть после отбоя и полночи плакался дневальному, который мог слушать хоть всю ночь без ущерба для драгоценного сна. Я как раз и был в ту ночь дневальным, так что я выслушал несколько раз подряд историю этого позорного купания и проникся величайшим сочувствием к Гамлету Мнацакониану, который был в общем-то парень неплохой и угостил меня однажды гранатом.

Я, помнится, горячо сопереживал Гамлету, а потом представил себе без труда, как она честит всех обитателей домика на Четвертой улице, бедная Валька. Как она стоит там одна на темном шоссе возле храма Рипсима. Убей меня Бог, не помню, что за подвиг совершила эта святая женщина Рипсима. То ли она не хотела отдаться какому-то иноземному угнетателю, и мерзавец ее зарезал. То ли она героически отдалась мерзавцу, чтобы зарезать его потом, пристроившись поудобнее. Так или иначе, ее патриотический поступок не был забыт потомками...

Глава 5

Помнится, это было со мной на автостопе в Словакии, на темном шоссе под Ружомберком. Ночью попутки берут неохотно, да и вообще уже добрых полчаса не проходило никаких машин, так что я стоял в полном одиночестве. Невдалеке за шоссе блистал огнями какой-то поселок, и там было отчего-то светло и шумно, как редко бывает в деревнях в такую позднюю пору. Я спросил у ребятешек, пробежавших мимо, в чем дело, и они объяснили, что приехал цирк. Я уже стал подумывать, не пойти ли мне в поселок и не примазаться ли к бродячему цирку. Хорошая деталь для биографии: бродил с цирком. Как Феллини или кто там еще? У нас цирк, впрочем, меньше почитают, чем на Западе. В цирк у нас водят только солдат и малолеток. Меня раз водили в саперной роте. Но нас и в Ереванский оперный возили. Без предупреждения. Видит театральная администрация, что всего пяток билетов продано и даже контрамарки лежат без движения, звонит в армянский полк или в русский полк, и часу не пройдет, как наш грузовик подкатит к театру...

Театр. Музыка играет, кресла мягкие. Сидим, ерзаем, гремим кирзой: какая-никакая, а все ж публика, живые люди... У нас кресло у каждого, а не скамейка. Это тебе не цирк. Русский язык, кстати, отразил эту иерархию ценностей. «Ну цирк!» – говорят у нас по поводу любого нового устройства. Говорят, правда, и «Театр!», но реже. Чаще – «настоящий бардак». Реже – «бордель». Но ностальгических певцов борделя, как Мопассан, родная литература нам не оставила. Хотя небось наши пышки были и пышнее и патриотичнее ихних... В общем, за бродячим цирком я не ушел. В конце концов маленькая красная машина все же притормозила у края шоссе, дождалась меня, водитель помог открыть двери. В машине были молодые родители и двое детишек. Это бывает: родители, у которых в машине дети, смелее и доверчивее, так что подбирают даже ночью. Вероятно, даже самая мрачная фантазия не решается представить себе негодяя, который нападет на машину с детьми. Что это – неистребимая вера в доброту или ограниченность человеческой фантазии? Так или иначе, я поехал дальше в обществе молодого венгра из Рожнявы, его жены и детей. Узнав, что я русский, водитель пришел отчего-то в возбуждение, которое не укрылось ни от меня, ни от его жены. Он все время порывался рассказать мне что-то важное, и в конце концов из его сбивчивых объяснений я понял, что он был в России в плену, но что он на меня не в обиде и что, пожалуй, даже наоборот, он меня любит или нас всех русских любит.

В каком-то маленьком городке, где он должен был съезжать с большой дороги и я должен был вылезать, он остановил машину на углу перед очень красивым старинным домом, рядом с которым, тут же, в проулке, размещался «ночлегарен», дешевая ночлежка, из тех, что были мне по карману.

– Я вас провожу... – сказал он и поспешно вышел за мной из машины. – Иванов... – вдруг продолжил он, когда мы отошли от машины шагов на двадцать. – Иванов! Девушки! Иванов!

Теперь я понял, о чем шла речь. Он был в плену, в Иванове. «Иванов» – это были война, плен, лагерь, голод, но это была его юность. И там была девушка, которая его пожалела и приласкала. Впрочем, и ее тоже не грех было пожалеть: там и нынче, небось, спрос на таких вот чернявых красавцев, в нашем текстильном Иванове. Теперь все это далеко и нисколько не страшно. А свежесть того ощущения как вернуть? Есть, конечно, жена, дети, тачка, теплый дом... Домой придешь – там ты сидишь...

Всякий нормальный человек лелеет воспоминания о своей боевой юности. На худой конец боевитой. Те же, кто хает свое прошлое, это уроды, лишенные самоуважения. Я из них числа. Просят: повспоминайте о вашей боевой студенческой юности, вскоре после Войны и Великой Победы. И мне вспоминаются комсомольские собрания...

Они отбирали немало нашего времени. Годами тянулась вереница собраний, посвященных «моральному облику». В каждой группе должны были найтись моральные уроды для битья. Они потребительски относились к своим товарищам, к общественным поручениям, а главное – к изучению общественно-политических дисциплин. Так что каждый коллектив должен был провести у себя серию очистительных собраний и заклеить «разложенцев». Участвуя в собраниях, члены коллектива отстранялись от морального уroda, очищались внутренне и получали устрашающий урок. Мероприятия эти были обязательными, каждая группа и курс должны были отыскать в своей среде факты бытового разложения, угрожающие здоровой морали студенчества. И конечно, отыскать удавалось...

Помню шикарные судилища факультетского масштаба и маленькие, но вполне грозные групповые собрания. Помню, как мой институтский друг, тогдашний группкомсорг, открыл наш скромный групповой трибунал, произнеся ломким голосом, дрожащим от гнева и сознания собственной чистоты³:

– Лида, до нас дошли сведения, что ты живешь с Юрой...

Второй вопрос повестки дня был сформулирован мягче:

– Галя, мы хотим разобрать вопрос, почему на нашем групповом вечере ты целовалась с Витей...

Ах, как было страшно! Каждый из нас предавался, хотя бы в мечтах, безнравственным этим занятиям, и каждого могли призвать к ответу. Помню, я что-то выкрикнул в знак протеста на этом собрании и за «попытку сорвать мероприятие» был осужден комсоргом. Но помню, как ничтожно было и мое расстояние до прокурорского места. Еще чуток надавить, допугать...

Господи, да она и нынче в памяти, эта грозная фраза моего друга-комсорга, сидит под кожей, как заноза:

– Лида, до нас дошли сведения...

Неужто все еще боюсь оказаться на затертой скамье подсудимых? Протестующий, вожделеющий, осуждающий разврат и его алчущий, защищающий жертву и одобряющий наказание, либерал и ханжа, прячущий руку, голосующий «за» и «против» в одно и то же время. Это часть моей юности, и я в упор не вижу над ней ореола «лучшего времени». Конечно же была она и нежной, и сладкой. Ухитрялась быть...

³ Друг мой был девственник и гомосексуалист, так что возмущение давалось ему без труда.

* * *

Пенсионер, ставший передо мной в очереди к прилавку, доверительно сообщил, что все пораспустились теперь, а раньше был порядок. Он уточнил, что длинноволосым надо обрезать волосы и заставить их строить каналы, девиц обрить наголо и запретить им спать с мужчинами, а писателей, поляков и отчего-то еще чехов надо скрутить в бараний рог, чтоб был международный престиж и страна встала с колен. Потом он обвинял в чем-то Никсона, Киссинджера, соседа-еврея, который якобы художник, но нигде не работает, воспитательницу детского сада, где у него внук, и еще каких-то людей, про которых я не знал, потому что у меня нет телевизора...

Мир представал перед ним в безобразии хаоса, и он один мог бы привести его в порядок, потому что над гнилым морем его ненависти был некий принцип. Я слушал, ощущая невозможность пробиться через непроходимую, непроницаемую стену... Напрасно я вызывал в памяти все свои бесконечные странствия по России, добрые лица милых людей, моих друзей или просто попутчиков... По временам мрак рассеивался, но оставались серые сумерки безнадёжности...

* * *

Помню, как приехал я однажды в Ростов Ярославский вечернею электричкой и совершенно обалдел, увидев в первый раз белый, подсвеченный в ночи кремль над тинным морем-озером с мерянским названием – Неро. Обойдя раз и два вокруг кремля, я встал под стеной у берега и решил, что вот здесь, на этой вот самой «Толстовской набережной», я хотел бы жить. В конце концов меня и правда пустили на постой в низком домике с окнами, вросшими в землю вала, под самой стеной, над которой возвышались одетые деревянным лемехом купола, башни, кресты, флюгера и дымники кремлевских строений.

Дядя Миша, хозяин домика, где нашлась для меня комнатуха, ушел на пенсию еще в незапамятные времена, до войны, а до того был милиционером. Он трогательно обо мне заботился, часто ставил самовар и звал меня к столу. Я без сожаления бросал перевод нигерийского романа, и мы принимались рассуждать за чаем о различных предметах.

– Полячки, они женщины красивые, но очень хитрые... – убедительно говорил дядя Миша, прислушиваясь вполуха к бормотанию репродуктора. – А лучшее вино, Зяма, знаешь какое? Лучшее вино мальвазия, его монахи пьют.

Иногда я брал его лодку и уплывал на середину озера Неро. Отсюда наш домик был едва виден, он сливался с остатками вала и стены, а над низким берегом, будто почти не касаясь его, маячил в высоте веселый сказочный кремль. На окраинах городка возвышались с одной стороны Спасо-Яковлевский монастырь, а с другой, там, где было некогда Велесово дворище и стоял каменный истукан, побежденный святым Авраамием для нынешнего торжества правильной веры, лежал монастырь Авраамиевский.

Иногда мы рассуждали с дядей Мишей о колхозах, о разных научных достижениях, а также о несовершенствах современного мира. Разговоры эти возбуждали и тревожили старика. Как я теперь понимаю, они томили его мерой их разрешенности – то ли уже можно теперь обо всем беседовать, то ли еще, может быть, все же не стоит. Однажды в ходе нашей беседы о том о сем – о былом производстве овощей и былой красоте ростовских звонов – дядя Миша вдруг рассказал одну довоенную историю.

– Вот так же помню до войны ездил ко мне один молодой парнишка-инженер, приезжал рыбачить... Очень мы с ним подружились, хороший был парнишка. После рыбалки мы с ним, бывало, обязательно выпьем и рассуждаем о разных предметах, про всякое такое. Один раз

мы с ним до полночи разговаривали, и он, между прочим, анекдот мне один рассказал про пятилетку. Смешной был, наверно, анекдот, теперь уж не помню какой. Ты его должен знать... Потом он уехал, инженер этот, а я вот тут, на кухне, сижу и думаю, что нехорошо это получается, человек он молодой, всякое может случиться. Адрес у меня его был записан, а также предприятие, на котором он работал. Сидел я тут в кухне один, сидел, потом собрался и поехал в Москву. Нашел я это его предприятие, где он работал, и прямо к начальнику. Так, мол, и так, вот у вас работает такой-то. Работает? Да, работает. Человек он, говорю, молодой, не понимает еще обстановки, напряженная обстановка, кругом враги и всегда может приключиться какая беда, а он вот такую мне вещь рассказывает. Я про анекдот этот. А они мне говорят, спасибо, папаша, не беспокойтесь, мы тоже тут не дураки сидим, уже приняты меры, и этот молодой человек забран как враг народа. Так что вам, папаша, конечно, спасибо, но уже все в порядке и вы даже вроде бы как опоздали. Такие вот бывают истории...

Дядя Миша посмотрел на меня отчего-то с жалостью, и мне стало не по себе. Даже неудобно стало перед сухоньким, совсем старым дядей Мишей, который может из-за меня снова пережить такую вот неприятность. Я стал уверять дядю Мишу, что у меня пока еще все в порядке, да и времена вроде бы нынче другие, но окончательно мне успокоить его не удалось... Так что он еще долго вздыхал за самоваром, когда я уже ушел к себе в комнатку, вросшую в древний вал. А я переводил роман из мрачной нигерийской жизни.

Тоже не позавидуешь. Но может, там у них народ покрепче, в Нигерии...

* * *

Дядю Мишу я увидел в последний раз летом, когда совершал большое путешествие по Ярославской области. Был проездом в Ростове, а потом поехал на север области и поселился в северо-западном ее углу, в Пошехонье.

Маленький этот городок Пошехонье-Володарск изрезан речками и речушками, и новое «рукотворное» Рыбинское море, затопившее равнину, подступает к его улицам. Поселился я в Доме крестьянина на берегу Согожи, койка нашлась, но жить пришлось в одном номере с приезжими прокурорами из Ярославля, которые днем судили кого-то в Пошехонье, а вечером удили рыбу на бережку, отдыхая от дел правосудия.

Сам же я то плавал вверх по Согоже на речном трамвайчике, то ходил на рыбацкой пэтэ-эске «Дельфин» по морю, то бродил пешком по немислимым этим дорогам, забираясь в самые глухие пошехонские углы. Потом надумал уехать еще дальше на запад – в Дарвинский заповедник, что лежит на самой границе Калининской области, на бывшей реке Мологе, затопленной морем. Под вечер я собрал рюкзачок и простился с прокурорами, отдохавшими на гостиничных койках.

– Счастливо оставаться, – сказал я, – судите, карайте и будьте милосердны...

Прокуроры оказались не вовсе чужды юмора. Впрочем, старший из них поправил меня с большой серьезностью:

– Какое ж тут может быть милосердие, если они нарушители социалистической законности...

На том и простились.

Я поселился на главной усадьбе Дарвинского заповедника, в Борке, где царили тишь и диковатая красота берега, подмытого разгульным «рукотворным» Рыбинским морем, вышедшим уже из-под власти человека, в недобрую минуту его создавшего. Море и ветер валили сосны на берегу, переворачивали лодки. Всплывали со дна торфяные острова. Разливаясь без удержу, море уносило птичьи гнезда и смывало посевы, затопляло поймы рек и прибрежные луга, оставляя скот без прокорма.

Ученые заповедника, созданного как бы для изучения последствий рукотворной катастрофы, осторожно и даже нехотя отмечали неожиданные плоды прославленного «преобразования природы». Мне они рассказывали об этих своих наблюдениях неохотно, ибо в сравнительно еще недавнюю эпоху, когда тысячи людей, не вполне добровольно забросив свои дела, под усиленным конвоем творили здесь это «рукотворное чудо», наука ждала от разлива морей других, вполне даже благотворных сдвигов в хозяйстве, ждала, можно сказать, золотого века и процветания «журавлиного края», так что вот – незадача... Сказать страшно. А мне было уже не страшно, я был молодой, и я про все это вскорости написал, даже и напечатал, нажив кое-какие (уже, впрочем, не смертельные) неприятности. Но это еще год спустя, а пока...

Проведя добрую неделю в уклончивых интервью с чиновными учеными, я решил уехать в какие-нибудь совсем уж нетронутые места, куда-нибудь на труднодоступный кордон. В это время и появился на главной усадьбе угрюмый лесник из Бора Тимонинского. Я разговорился с ним в кабинете здешнего лесничего и напросился к нему в гости. Он кивнул в знак согласия, хотя особой радости не выразил. Обещал довести на моторке. После обеда мы с ним и отчалили. Рукотворное море безжалостно швыряло и крутило нашу лодку, не раз грозило перевернуть, окатывало нас волной. Подводные ямы расставили нам ловушки, и лодка металась между ними из стороны в сторону. Продрогшие и насквозь вымокшие, добрались мы в конце концов до кордона Бор Тимонинский, где я и поселился на чердаке лесникова дома под особой сеткой от комаров. Днем я бродил один по нетроганому здешнему лесу, по болотам, черничникам, по глухим озерам, где стаями носились утки и страшно кричала какая-то незнакомая птица. Вообще, страшноватая была красота у здешнего бора.

На усадьбе лесника, близ которой мокли копны сена, задумчиво бродила с книжкой юная лесникова дочка Валя, которая училась в Калининe на медсестру. Сыновья лесника рыбачили и занимались хозяйством, да и сам он весь день пахал, как лошадь. И глядел при этом только вниз, в землю. А все же я отметил, что он не прочь при случае поговорить с пришлым человеком, а только все недосуг. Его скромный шестидесятирублевый заработок надо было умножать любым тяжким трудом. Мы все же разговорились с ним как-то под вечер, когда я, сидя на приступочке, наблюдал блаженно, как закат золотит солому, старый сарай и какую-то полу-сгнившую баню. Я и не заметил, когда это он подошел бесшумно и сел рядом. Проследив мой взгляд, он сказал устало:

- Совсем развалилась кузня... Ремонт ей бы надо... Хорошая кузня была.
- Кузня? Отчего кузня? За ней какие-то развалюхи. А что тут вообще было?
- А что и всюду по этим местам, – сказал лесник. – Лагерь тут был. До сорок восьмого мы были в лагере, а уж потом в заповедник вошли...
- И вы тоже тут были?
- Ну да. И я. Стрелком охраны. Конечно, я еще опосля армии на Москве-Волге стрелком работал, а потом уж тут... Тоже стрелком.
- И в кого стрелять?
- Чего?
- Кто тут сидел?
- А-а... Да все больше эти... Убийцы Кирова. Тыщ десять убийц. Большое хозяйство было...

Он долго молчал. Потом спросил:

- Вот я давно хотел узнать... Говорят, что вот книга есть такая – Библия и там все написано, что будет, как самолеты прилетят и конец света и все... Правда это или нет?

После этой душеспасительной беседы прогулки мои вокруг кордона стали мучительны. Люди, которые страдали и умирали в этой местности, населили ее воспоминаниями. Мне всюду чудились следы их окровавленных ног. Я нашел на берегу ржавые кандалы и дырявую железную миску. Берег был забросан отмытыми добела корнями и ветками, в которых чудились мне

человечьи кости. Как-то вечером, когда лесник, подойдя снова так же неслышно, сел со мной рядом и закурил, я решился спросить его:

– Что же тут за люди сидели? Хорошие?

– Которые и хорошие, – сказал он равнодушно. – А которые совсем доходяги. Идет, ветром качает. Как смену станешь сдавать, вон туда под берег целую телегу покойников свезем. Особенно эти гиблы, нацмены, узбеки разные. – Он оживился и хлопнул себя по колену. – А почему?

– Да. Почему?

– Потому что они до денег жадные. Который свою пайку продаст, а пайка пятнадцать рублей была, или, скажем, на табак ее обменяет, глядишь – к вечеру уже готов. А вот ваша нация... – Он многозначительно взглянул на меня взглядом опытного кадровика из народа (ах, бедные невинные узбеки, принимавшие меня за таджика, сами наивные таджики, почитавшие меня за узбека, бедные армяне, грузины и курды, оспаривавшие мою принадлежность к их племенам, стыдитесь, ибо это здесь, в таежной глуши Бора Тимонинского, возвращены были инженеры человеческих душ, крупнейшие специалисты по разрешению национальной проблемы). – Ваша нация очень друг за друга стоит... Всегда своего на баню или на прачечную пристроит...

Подошла его милая дочка Валя с толстым романом под мышкой, лесничиха звала нас ужинать. За ужином я, не удержавшись, снова завел разговор о прошлом.

– На Москве-то-Волге было весело, – сказала лесничиха мечтательно, – там клуб был такой замечательный и снабжение... Народу было много...

– А тут?

– Да и тут люди были, чего же. Молодежи было много. Весело. По воскресеньям молодежь, бывало, разбредется по кустикам...

– Пускали? Друг с другом? Парочки?

– Да нет, с охранниками. Который себе какую возьмет.

Лесничий Витя с главной усадьбы приехал за мной на моторке через неделю под вечер. Лесничиха решила ехать с нами до Борка, чтобы оттуда добраться в Восьегонск, на воскресный базар. В тот день штормило, причаленная лодка билась о берег. Лесниковы сыновья тащили за рога козу. Она упиралась, не хотела уезжать к новой судьбе в Восьегонск. Лесник провожал нас на берегу, и я заметил, что он необычно взволнован.

– Если что, – сказал он жене, – бросай козу и плыви, черт с ней с козой...

– Э-э-э, чего нам бояться! – крикнул лихой Витя. – Кто в море не бывал, тот горя не видал.

– Бог не выдаст – свинья не съест, – сказал я злорадно. Мне странно было, что они так боятся моря, это ведь их море.

Совсем затемно, когда мы, продрогнув до костей и натерпевшись всякого страха, добрались, наконец, до Борка, лесничиха сказала мне, с трудом шевеля губами, побелевшими от холода:

– У меня тут два сына потопло в этом Рыбинском... Один махонький был, семи лет. Смыло у бережка. А другому двадцать шесть, катер ихний на елку напоролся, а они выпивши были... Много тут елок стоит под водой...

* * *

Автор этих записей, проходя однажды по главной улице восточного города Душанбе (для недогадливых иностранных читателей можно уточнить, что она называлась улицей Ленина), слышал, как молодой человек говорил каким-то внимательным девушкам:

– А вот в Копенгагене...

Услышав это многообещающее начало фразы, автор понял, что он всю жизнь писал не о том и даже ездил не в ту сторону. Желая хоть сколько-нибудь компенсировать читателю упу-

ценное время, автор намерен рассказать, как он путешествовал за границей на крайнем западе одной вполне западной страны, а точнее говоря, Польши. Из самого западного города этой страны – из Вроцлава, неправильно называемого иногда Бреслау, – автор добирался на попутных машинах в знаменитый религиозный центр Ченстохов. Тоже, конечно, не Копенгаген...

* * *

С окраины Вроцлава я двинулся на попутном грузовике и почти сразу понял, что путешествие будет утомительным. Не потому даже, что я не выспался (встал непривычно рано) и что ноябрьский день обещал быть хмурым. И не потому даже, что первые два десятка машин прошли мимо, не желая замечать поднятую руку. Главную трудность я понял позднее, взобравшись в кабину попутного грузовика, где рядом с шофером уже сидел какой-то тип в очках и провинциальной шляпе. Шофер, будто радуясь новому собеседнику, сразу меня спросил:

– Слыхали сегодня радио? Подвышка! Цены выросли. Мясо на двадцать процентов, колбаса – на двадцать, ветчина...

– И сколько теперь стоит ветчина? – спросил я, лицемерно проявляя интерес к чужой ветчине.

– Сто двадцать золотых за килограмм. Езус Мария... Сто двадцать золотых... – Шофер яростно потянул за какую-то рукоятку и заявил: – Все хинчики, пшя кощч... Все хинчики...

Хинчики – это, по-ихнему, китайцы, и я тщетно напрягал свою память, не изощренную чтением газет, пытаюсь понять, какая там нынче связь между польской ветчиной и Китаем. Связи не нащупывалось. Пассажир в очках это тоже отметил.

– Пан з России? – спросил он. – Хинчики – это полбеда. Вот Россия...

Россия не могла не быть виноватой в этих колбасных несчастьях. Это казалось несомненным, хотя у меня и не хватало экономических сведений, чтобы это подтвердить или опровергнуть. Когда попутчик вылез из машины, не предложив шоферу хотя бы для приличия десятизлотувки, шофер обрушил свой гнев на очкарика.

– Бывает же такой цфаянк... А еще в шляпе... Но я тебе расскажу. Дело, друг, вот в чем...

Тут шофер вполне дружелюбно объяснил мне, в чем дело. Есть два лагеря, сказал он. Лагерь социализма и лагерь капитализма. В этом было все дело.

Я так и не усек, какой из двух лагерей съел польскую ветчину. Но, выйдя из машины, решил больше не ломать над этим голову. Меня ждал Ченстохов, где Мать Божия оплакивала смерть любимого сына и набожные католики склоняли колена перед одной из главных святынь восточноевропейского католического мира.

Впрочем, до Ченстохова было еще далеко. Шофер следующей попутки тоже начал с обсуждения «подвышки». Он сказал, что в «подвышке» виноваты «корейчики», то есть корейцы. Будь у него бомба, именно на них он бы ее сбросил. Объяснить причину своей ненависти он не мог, но я подумал, что такое и не нужно объяснять. Ненависть необъяснима и возвышенна, как любовь, и польская дорога в тот день была залита ненавистью.

Шофер новой моей попутки, владелец частной мастерской по вулканизации камер, сказал, что немец хорош только мертвый. Это из-за немцев дорожает мясо и распространяются раковые заболевания. Вы заметили, что немцы называют Ворцлав не иначе как Бреслау? Это что же, выходит, что Вроцлав – немецкий город? А вот сегодня газета пишет, что в Ополе недавно откопали избу, и это доказывает, что еще Бог знает когда, еще до немцев, тут была изба... Очень старая...

Я вышел из машины во Бжеге. Здесь была почти Россия. На улице переселенцы-львовяки говорили по-русски, а цыган в млечном баре пел про журавлей:

– Здесь под небом чужим я как гость нежеланный...

Млечный бар лежал на млечном пути, на пути в Россию. Насытившись молочным супом, я стал невольно подтягивать цыгану, и тут только понял, что я определенно люблю цыган. И конечно, люблю переселенцев-львовяков. Люблю этих блондинов-шлензаков и даже выселенных отсюда немцев тоже люблю, во всяком случае – жалею... Молочный суп в Бжеге вернул мне утраченный было гуманизм. Можно было двигаться дальше.

Впрочем, первый же послеобеденный шофер все поставил на свои места. Он сказал, что здесь живут ублюдки и выродки человеческого рода и что выносить этого больше нельзя. Здесь живут ублюдки-шлензаки, которые почти немцы, которые хуже немцев. Это из-за них дорожает мясо и ремилитаризируется Западная Германия, получая мощную военную поддержку от Израиля. Шофер хотел еще добавить что-то о евреях, но моя сомнительная чернявость удержала его, и последнее слово правды задержалось в пути. Зато всю правду о жидах рассказал мне следующий шофер. Главную вину он, впрочем, возлагал не на жидов, а на каких-то кашубов, которые живут на севере Польши и тоже нелюди... Последний мой шофер в тот день говорил об украинцах. С ними все ясно. Они служили в гестапо и пытали польских патриотов. В украинцах все зло, но, поскольку их не так уж много, мой последний шофер был настроен оптимистически и верил в приход светлого будущего, надо только избавиться от украинской скверны...

Когда я вышел в Ченстохове, голова у меня была как чугунная. Я был рад, что дальше можно не ехать. Я шел пешком, в одиночестве.

Я присутствовал при открытии черной иконы Матки Боски. Церемония сопровождалась трубными звуками, записанными на магнитную пленку. Это было впечатляюще. Потом я ходил за группой провинциальных паломников, преклонял вместе с ними колена у скульптурных групп, изображающих остановки на пути крестного хода нашего Господа, и повторял вместе со всеми: «Швента Мария, Матка Божа, эмидлуйща над нами гжешными, тераз и в годжине щмерчи нашей. Амен».

Это смиренное занятие отвлекло поляков от мыслей о подвышке цен на мясо, о былом их благодетеле Болеке Беруте, о проклятых кашубах. «Боже, – думалось мне, – неужто и правда нельзя прощать друг другу хотя бы нашу непохожесть... Швента Мария, Матка Божа, прости нам, страдалица, грехи наши и отвлеку наши блудливые мысли от проклятого менса... то бишь мяса».

Дабы задержать в себе подольше это постное настроение, я решил возвращаться в Варшаву не стопом, а на поезде. Монах-паулин повел меня в светлую коптерку и там вслух зачитал, специально для меня зачитал, расписание поездов, висевшее на стене. Он называл меня «браче», я был растроган и по-настоящему ему благодарен. Похоже, подвышка на мясо его нисколько не волновала. Но может, он был вегетарианец. А может, просто они держали своих свиней. Откуда мне было знать.

Часть вторая

Предисловие редактора

В этой новой тетради, как и в предыдущей, содержатся некоторые воспоминания Зиновия Кр-ского, написанные от первого лица, но иногда так подаваемые, как будто это лицо не сам Зиновий, а некий лирический герой, что, конечно, вносит известную путаницу, хотя, впрочем, и не имеет большого значения. Надо сказать, что при первом прочтении воспоминаний своего пропавшего друга Редактор с трудом восстановил во всей зримости и цельности образ этого скромного человечка, встречаемого им в прошлом как в быту, так и в коридорах издательства, а затем театрального главка. Редактор вспомнил мало-помалу рассказы Зиновия о многих его странствиях-приключениях и подивился разнообразию его судьбы, объясняемой как беспокойным характером Маленького Человечка эпохи Больших Свершений, так и самим характером эпохи, к сожалению так неполнокровно отраженной в этих воспоминаниях. Редактору казалось порой при чтении, что герой записок забывает о скромном месте, занимаемом им в бурном строительстве, и становится на точку зрения эгоцентризма. Может, этим и объясняется, что иногда скромный Зиновий как бы хочет отмежевать себя от своего героя. Однако многие косвенные признаки подсказывают Редактору довольно личный характер этих, так сказать, реминисценций. Как, наверное, заметил проблематический читатель, воспоминания эти перемежаются путаными рассуждениями, лишенными общего идейного стержня, однако чего иного можно ожидать от Зиновия Кр., человека, не чужого некоторой образованности, но не имеющего компаса в море идей и верного метода. Редактор мог бы без труда, опираясь на единственно правильный метод, развенчать все эти ахинеийские рассуждения, будь в том нужда или окажись заблуждения автора единичными. При наличии же нашего снисходительного принципа издания этих бумаг достаточно лишь предупредить читателя и оставить его наедине с новой тетрадью безвременно и неизвестно куда исчезнувшего с нашего горизонта Зиновия Кр-ского.

Глава 1

Потребность в новой шариковой авторучке привела меня в поддень к газетному киоску, отстоявшему в полукилометре от пляжа. Оказалось, что туда собиралось в эту пору чуть не все население курортного городка. Тогда я и обнаружил, что у газетного киоска есть свои клиенты и поклонники, которых мало интересует море, но зато бесконечно волнуют свежие газеты. Они уже добрый час ждали здесь пузатого продавца, который вместе с последним словом печатной истины задержался где-то в пути. Вероятно, этот добродушный грузин с ворохом марких газет остановился где ни то в тенечке и беседует с друзьями, а может, попробует молодое вино у ларька или щиплет кисть черного винограда. А может, он еще дома – гортанно шутит и заливисто хохочет, совершенно не ощущая, какое море ненависти клокочет вокруг его утлого газетного киоска. Между тем читатели газет, неплохо знающие свои права и немало читавшие о казнях, готовили ему мысленно все виды наказаний и репрессий. Они проклинали «проклятых грузин» и мечтали о перемене «грузинских порядков» на некие другие, которые могли бы поддержать социалистическую законность. Большинство даже напоминало тридцатые годы и требовало применения особых мер. Скажем, «стрелять здесь каждого третьего» или даже «каждого второго». Ни один не просил о снисхождении, которое можно было оправдать нестерпимой жарой, национальной традицией и низким уровнем местной зарплаты... По мере ожидания читателей газет начинало казаться, что они прибыли сюда из края идеального

миропорядка, который должен быть немедленно учрежден и здесь, в ареале газетного киоска. По их мнению, черные и усатые, худые и пузатые местные жители слишком медленно приобщались к совершенному российскому миропорядку, «они» были несовершенны, непостижимы, внутренне враждебны, трудновоспитуемы...

Я оказался в толпе, бурлящей ненавистью, и думал про «них», про «нас», а также про всех, кто не мы и кто другие...

Я только что перевел книгу одного очень милого нигерийского писателя. Работая над переводом, я все больше проникался сочувствием к трагедии своего героя. Он долго-долго выбирал невесту допустимой степени родства, а когда наконец выбрал и заплатил что положено, невеста померла. Герой был совершенно непостижимым и, пожалуй, подоночным существом, однако он не замечал этого, потому что у него был другой устав. Говорят, что есть еще и другие уставы.

Устав, вероятно, можно называть и этикой. Но как быть с пророчеством Великого Инквизитора, будто «человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступлений нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные. "Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!" – вот что напишут на знамени...»

Пророчество сбылось, именно эти слова написаны были на знамени. Тут есть от чего загрустить, так что лучше не думать о грустном, а помечтать о чем-нибудь прекрасном или вспомнить счастливые годы. К примеру, счастливые годы, когда я плавал матросом и мы шли от Дуная до Арктики...

* * *

Митя шел на нашем холодильнике от Дуная, и сам он был оттуда, измаильский. Он был здоровущий шофер и держался с большим достоинством, противопоставляя себе этой бездомной водоплавающей голи перекатной, которую называл шушерой. Он рассказывал, какой у него большой каменный дом в Измаиле, а во дворе фонтан, прохлада, виноградник – кустов пятьсот – и свое вино в любое время: «Вот приедешь ко мне, Замочка, поглядишь». Не совсем, впрочем, ясно было, зачем при таком достатке пустился он в это рискованное плавание. Держался он солидно, а капитану заявил, что он человек партийный, только партбилет забыл дома. До его прихода капитан представлял в одиночку партийную прослойку на судне, так же как друг мой радист Димка – всю комсомольскую. Остальные даже в профсоюз не успевали вступить на берег, так что Митя этой своей партийностью сильно озадачил кэпа: черт знает, чего от него ждать. Звали Митю на судне «молдаван», но говорил он по-русски, хотя, конечно, по-южному: – Замочка, солнышко, коченька...

Так он меня звал, когда надо было стрелкнуть трояк на выпивку. Впрочем, иногда и без трояка, просто так, на всякий случай: такая у него была ласково-блатная манера. Капитан его невзлюбил сразу и заподозрил, что он на самом деле беспартийный, однако проверить не мог и опасался.

В Ростове мы стояли на Дону у самого бульвара, у стенки, но наутро должны были уходить дальше на север, так что в последний вечер вся команда, конечно, сошла на берег. Мы с Димкой-радистом сходили на берег в обед и привели двух милых ростовских курочек, которых впустую уговаривали у себя по каютам. А Мите выпала в тот вечер вахта «Прощай, молодость!» – та, что до полуночи, так что Митя и не мог толком попрощаться с Ростовом. Он вызвал меня из каюты и сообщил, что видел у меня как-то в чемодане чекушку. Это мама, провожая меня в долгое плавание, купила мне четвертинку и сказала, что водка, наверное, необходима будет на Севере. По ее представлениям, в ней был огромный заряд тепла, в четвертушке: мы ведь никогда не пили водки. До Севера было еще далеко, так что я без споров уступил Мите четвертинку.

Около полуночи в коридоре раздался топот ног, потом истошный визг и ругань. Я выглянул и увидел мыльные следы на полу. Вышел на палубу и увидел на спардеке голую тетку, обляпанную мыльной пеной. Она кричала, что никому не позволит, что у нее муж майор и что она вообще порядочная женщина, так что они у нее все кровью умоются. Митя пытался утащить ее вниз с палубы в каюту, приговаривая:

– Ну, коченька, мать твою, надо же одеть на себя что-нибудь, курва, мать...

Капитан стоял тут же на палубе в праведном гневе.

– А еще коммунист... – сказал он Мите. Потом добавил неуверенно: – Врешь, наверно, что коммунист.

Выяснилось, что Митя зазвал на борт проходившую мимо пьяную шлюху, а когда нагрянул вдруг капитан, загнал ее к себе в каюту. Пока Митя изображал на палубе несение вахты, дама его пошла искать галюн и ненароком забрела в душ. Она разделась там и даже намылилась, но вода шла только холодная. Тогда-то она и вылезла на палубу, совершенно голая, да еще в мыле...

Позднее, на «мариинке», где были потемневшие от времени деревянные шлюзы, мы с Митей целый день стояли на швартовах. Перед десятым шлюзом, где скопилась огромная очередь судов, пришлось добрых полчаса стоять впритирку с каким-то речным лихтером. Вдоль его борта разгуливала немолодая уже, сильно потрепанная жизнью шкиперша, и Митя ворковал с ней о жизни, пуская в ход весь свой набор ласковых слов – от «солнышко» до «коченьки». Потом он попросил меня пойти к капитану, чтобы тот отпустил его минут на пятнадцать на лихтер по срочному делу любви. Я сказал капитану, что Митя берется за пятнадцать минут соблазнить шкипершу, и капитан разрешил, бормоча что-то себе под нос насчет Митиной партийности. Шкиперша поджидала гостей у борта в новой синей спецовке, и они с Митей удалились в трюмный кубрик. Митя вышел оттуда минут через пятнадцать, как обещал нам с капитаном.

В тот вечер он рассказывал мне особенно много геройских историй из своей жизни.

Вот хотя бы в Ярославле, где мы стояли у пляжа на Стрелке, помнишь, коченька? Так вот, возвращался он из города ночью на судно и видит, что двое, какая-то девочка и студентик, занимаются любовью на берегу. Он, Митя, поправил капитанскую фуражку, которую брал взаймы у старпома, и сказал басом: «А ну, вы что тут творите?» Потом он прогнал испуганного студента, а девочку... Ну, ясно, что с девочкой... Вот такие дела.

Или вот еще посылали его в Измайльский район, на уборку урожая. Жил он у одной учительницы – там ему и кормежка была бесплатная, и стирка, и любовь. Она просто обезумела от счастья, одинокая учительница в глухой деревне. А была у нее пятнадцатилетняя дочка. Так вот Митя однажды, когда матери не было, и дочку эту к делу приспособил. Она привязалась к нему и никак не хотела отвязываться. Тогда Митя увез ее куда-то далеко в степь, а там прогнал. Такие вот были жизненные удачи.

В новую навигацию, через год, опять мы уходили от Измаила, но Мити не было. Во время измайльской стоянки я стал искать его по адресу, который он мне оставил, а только он что-то напутал. Все же в конце концов я нашел его дом, кто-то из местных ребят подсказал...

Во дворе старого двухэтажного дома и правда был фонтан, как он и рассказывал. Но высохший, весь в трещина. Возле фонтана возилась куча сопливых ребятишек. Впрочем, может, они не все были Митины, потому что дом-то был не его, а жактовский и Митина семья занимала в нем одну комнатенку. Конечно, ни сада, ни виноградника там не было, но жена была: грязная замученная женщина лет сорока сказала мне, что его самого дома нет. Потом она про меня забыла, занявшись стиркой, а я сидел на ограде сухого фонтана, и мало-помалу первоначальная моя обида на обманщика Митю таяла в зыбкой теплоте летнего вечера. Такая была кругом нищета...

А что подвиги его были сучьи, я и сам об ту пору был герой-матрос...

* * *

Помню, осенью возвращался я домой на Хорошевку от метро в автобусе, сел на заднее сиденье рядом с какой-то девочкой, вынул книгу и начал дочитывать, что не кончил в метро. У остановки автобус дернулся, и девочка как бы ненароком прижала руку к моей руке. Хотя мы были оба в пальто, но если долго давить, то и через ткань начинает ощущаться тепло тела, а она надавила довольно сильно и продолжала давить все больше, делая вид, что ничего такого не происходит. Я, конечно, это очень хорошо чувствовал и терпел, потому что она была хотя и простенькая, но милая, такая полненькая, вполне в моем вкусе. Я тоже, конечно, делал вид, что ничего не происходит, и нам было так приятно обоим, что я даже проехал свою остановку и вышел вместе с ней на следующей. Потом мы посидели немного на скамеечке возле ее дома, и она мне рассказывала всякую ахинею – в каких она бывала компаниях, какие там бывали бардаки и какой там был один знаменитый поэт, совсем седой. Назвала его имя, а я-то думал, он давно помер, я еще на третьем курсе про него курсовую писал. На этих сборищах, как я должен был понять, случались всякие ситуации, но она, если ей верить, всегда говорила, что ой, что вы, и убегала, так что вроде ничего не случилось, хотя вроде бы не могло не случиться, потому что они там все выпивали, вот она и сейчас была в поддаче, и если ей верить, то и сегодня тоже «еле унесла ноги». В общем мы с ней условились на завтра, возле метро, и она, как ни странно, пришла вовремя. На ней были черненькие чулки, я хорошо помню, что ножки у нее были полные, и вообще она была вполне соблазнительная, хотя, конечно, эти черные чулки были вовсе не в жилу к ее пальто. Я повел ее в свою временную холостяцкую квартиру – была у меня тогда, там мы самую малость выпили, ну а потом мы, конечно, разделись, и все было так славно и мирно и по-хорошему, так что я не поверил ее вскрику, и легкому ее стону не придал значения – мало какое бывает кокетство.

Утром ей очень рано нужно было вставать на работу, и я проводил ее до остановки автобуса. Хорошо помню зимний утренний сумрак и ярко освещенный газетный киоск, где продавали «Известия». Я даже не знал, что киоски торгуют в такую рань. Посадил ее на автобус, дал еще пару рублей на такси, и как-то мы с ней ни о чем не договаривались, номер ей свой не написал, а у нее, кажется, и номера не было. Потом я вернулся в теплую квартиру, плюхнулся в постель и проспал до полудня. Только тогда я и обнаружил на своей простыне пятно крови и вспомнил ее вскрик, а потом уж и все эти ее рассказы про то, как она «унесла ноги». Не то чтоб это меняло каким-то образом то, что случилось с нами, но я подумал, что это могло быть для нее серьезно, однако подумал так, мельком, второпях, а к середине дня и думать об этом перестал, потому что придумал себе какое-то новое развлечение.

Однажды я видел ее как-то снова в автобусе, но только она была не одна, с сестренкой, да и я был не один. Никаких особенных переживаний на эту тему у меня не было, хотя случай, конечно, редкий, чтоб девица. Только однажды, сидя в мерзостном настроении где-то на чужой даче, я подумал, что тут делов наберется на целое «Воскресение», однако воскресенья никакого со мной не произошло.

* * *

Помню, как-то летом, в середине моего перегонного плаванья, когда мы стояли на Волге близ Горького и конца стоянке что-то не было видно, я отпросился у капитана съездить на недельку в Москву, а там друг Витя повел меня к кому-то на день рождения, Бог знает к кому. Именинница была совсем миниатюрная дамочка, вполне миловидная. Среди прочих гостей был, помнится, ее бывший муж с друзьями – все какая-то мидовско-инязовская шушера, а я тут в матросском отпуску, моряк сошел на берег, этаким себя чувствовал морякухой, настоящим

мариманом. Когда я чуток захмелел, мы с именинницей стали танцевать, а потом как-то само собой вышло, что мы стали с ней очень уж обниматься и даже для этого вышли на лестничную площадку. Скоро туда пришла ее мама, чтобы нас унять. Отчего-то мне запомнилась фраза ее старой матушки, которой она увещевала хмельную именинницу:

– Ну кто он тебе? Ты знаешь его?

Надо признать, в ней был кое-какой смысл, в этой фразе. Но только на нас с именинницей это никак не подействовало. Мы с ней не разошлись, а наоборот – плюнули на все это празднество, на ее гостей и спустились во двор. Огромный московский двор, сотни освещенных окон вокруг. И посредине двора была детская площадка: песочница с грибом-навесом и еще какой-то круглый дощатый помостик, закрепленный на столбе, что-то вроде карусели. На этот помост мы и легли, а я почему-то еще и оттолкнулся ногой от земли, когда припал к ее теплой податливости – все поплыло, закружилось, и освещенные окна, и темные, те, в которые, может, нас было видно кому-нибудь, и сам двор, и фонари, и звездное небо...

Назавтра мы еще бродили с ней часа два где-то на окраине, за Октябрьским Полем, отчаянно обнимались и даже обрушили один ветхий заборчик. Она сказала, что скоро возьмет отпуск на работе и прилетит ко мне на Север, туда, куда мы доплывем к этому времени.

И она правда оставила дочурку у матери и прилетела куда-то, кажется, в Вытегру. Я очень беспокоился, когда встречал в аэропорту: всего только два раза ее видел, а у меня плохая память на лица, вдруг не узнаю, но ничего – сразу вспомнил. Ребятам у нас на судне она очень понравилась. Капитан сказал, что она очень пикантная. «Лакомый кусочек», – сказал капитан, а молоденький старпом с ходу в нее влюбился. Ребята уступили нам каюту побольше, и она с нами поплыла к Северу. Я стоял у шлюзов на концах, а потом мы с ней слушали музыку в радиорубке и вместе читали французский роман. Я даже работал иногда, переводил в то время какую-то английскую книжку и писал что-то, а она уходила к мальчику-старпому поболтать, покурить. Из Архангельска капитан нас с ней отпустил на неделю-другую побродить по Северной Двине, потому что стоянка предстояла долгая, ребятам выдали деньги, и на судне начиналась великая пьянка.

Мы поплыли с ней на пассажирском пароходе вверх по Северной Двине. Было чудно. Чернела под синим небом прекрасная река, белели песчаные берега и отмели – пересохшие старицы, по-здешнему, курьи. А по берегу редко раскиданы были селения – Куростров, Курополка, ломоносовские, поморские места. Ночевали мы в огромных двухэтажных бревенчатых избах, потемневших от времени, три дня пережидали дождь в келье какой-то бабушки-староверки, которая уже неделю как ушла за морошкой да, видно, тоже где-нибудь пережидала дождь в лесном скиту. Потом мы поплыли назад.

Пассажирский пароход забрал нас среди ночи, и мы, сэкономив на каюте, всю ночь мерзли на палубе, так что в Архангельск пришли под утро, измученные бессонницей. На судне, стоявшем там же под берегом, уже во всю шла пьянка. Каюта моя была кем-то занята, и меня повел к себе отсыпаться Димка-радист, а нежная спутница, забалдев, осталась за столом. Спать мне пришлось недолго, вскорости разбудили и повели в каюту к капитану. Кэп был уже совсем пьяный, а напротив него сидел его друг, капитан-москвич, тоже вконец одуревший от пьянки.

– Володя, познакомься, это Зяма, – учтиво сказал кэп.

– Женя, иди на х... – ответил москвич очень медленно.

Мне налили в стакан коньяку.

– Володя, познакомься, это Зяма, – снова сказал капитан.

– Женя, иди на х... – отозвался москвич.

Ясно было, что беседа не сдвинется с этой точки.

– Володя, познакомься, это Зяма, – сказал кэп...

Мне рассказывали, что на третий или четвертый день пьянки кэп вдруг берет иногда со стола вилку или нож и втыкает в собеседника, куда придется. Я понял, что уже скоро кэп

воткнет вилку, предварительно сняв с нее бычок в маринаде, в друга-москвича. А может, воткнет прямо с бычком. Я ушел не прощаясь, и моего ухода никто не заметил. Уже от двери я слышал, как мой капитан повторяет все с той же учтивостью:

– Володя, познакомься, это Зяма.

Москвич отвечал ему все так же монотонно и ласково:

– Женя, иди на х...

Я встретил потом москвича на Колгуеве: на щеке у него был след от Жениной вилки, но, говорят, случилось это только сутки спустя.

А тогда я вернулся в Димкину каюту. Было часа три пополудни. В коридоре галдели, уснуть я не смог и пошел искать свою верную спутницу. Матрос Митрошкин сказал мне, что он ее водил дважды к кэпу для поддержания компании и что она теперь в каюте у молодого старпома. Я постучал туда, но никто не отозвался, и я уже хотел уйти, когда пьяный Митрошкин стал барабанить в дверь кулаками.

– Откройте, – кричал он с большим азартом. – Это же Зяма вам стучал.

Я уже не помню, когда она наконец оттуда выбралась, похоже, что под вечер. Мы со старпомом сходили в город и купили ей билет на самолет до Москвы. Молоденький старпом очень меня обхаживал и уверял, что у них с ней ничего не было. Просто ее тошнило от коньяку. Может, так оно и было. Противно, конечно, было, что мы ее искали, что Митрохин так долго орал и стучался во все двери. Ну и шли, конечно, всякие разговоры на судне, куда от них деться. Может, говорили больше, чем было, впрочем, что там могло быть, кроме того, что бывает обычно. Молоденький старпом был влюблен в нее. Она, судя по всему, любила меня. Но может, и старпома она тоже любила... Так или иначе, мы купили ей билет на самолет и проводили ее вдвоем в аэропорт. Вечером мы пошли всей пьяной судовой шарагой в ресторан «Полярный», пили там «рябину на коньяке», а когда наконец вышли из ресторана, поклеили каких-то разбитных архангельских девчонок и пошли «в квадрат»...

Потом мы ушли в Арктику, и старпом настоял, чтобы мы с ним поселились в одной каюте. Он очень хотел дружить со мной, дружить с ней, хотел, чтоб все было по-хорошему. Позднее, в Москве, все еще охваченный этим беспокойством, он женился даже на ее младшей сестренке, точно какой-нибудь Дантес. Но конечно, никто никого не убивал. Впрочем, на Диксоне я получил от нее целую пачку влюбленных и оправдательных писем, которые до сих пор храню, хотя у нас с ней все было кончено.

Одна моя приятельница, чьим мнением я тогда дорожил, объясняла мне, что я не должен был тогда обижаться и что я сам был виноват во всем. Что я сам отправил ее сонную ночевать Бог знает к кому, да и раньше отсылал в каюту к влюбленному в нее мальчику, чтоб спокойно работать в каюте. «К тому же был ли ты сам всегда безупречен?» – настойчиво добивалась она, и тут я честно отвечал, что нет, не был, ни тогда, ни потом, ни тогда даже, когда первая жена хотела, чтоб я потеснился и дал место на семейной койке трудолюбивому киношнику, я не потеснился и потерял своего мальчика, вот и выходит, что сам кругом виноват, а тогда о чем речь?

Глава 2

Так хочется быть хорошим и чтоб тебя любили, чтобы ты всем нравился – и тем, и этим. Главное, чтоб любили таким, каким ты хочешь казаться, да ты, может, такой и есть на самом деле. И конечно, очень обидно, если кто-то тебя не любит и видит в тебе больше дурного, чем есть на самом деле.

Помню первое свое интервью с англичанами, самое первое в английской редакции московского радио – когда мне дали в руки тогдашний норовистый магнитофон-«крупорушку» (его заводили вручную, как патефон), и я отправился на ВДНХ, в один из барakov

новой гостиницы «Турист», специально построенной для московского фестиваля молодежи, невиданного до той поры в России сборища молодых иностранцев. Это было в самом начале фестиваля. «Турист» еще не был забит до отказа, и одними из первых приехали английский драматург Джон Осборн и режиссер Тони Ричардсон, так что им и дали самую первую комнату общежития, в ожидании наплыва туристов – одну на двоих, пусть живут вместе, раз прибыли по одному вопросу («Оглянись во гневе»). Комнатка была тесная, две койки, столик, тумбочка, общая для всех ванная в конце коридора, там же туалет.

У нас на московском радио узнали, что приехал европейски знаменитый драматург, из «разгневанных молодых», один из самых молодых и самых разгневанных, вот меня и послали брать интервью.

Когда я добрался до «Туриста», Осборн был не то что во гневе, а просто, можно сказать, в ярости. До филиала МХАТа, в помещении которого репетировали его нашумевшую пьесу, ему было с ВДНХ тащиться час на автобусе, а барак отеля стали мало-помалу заполнять мальчишки и девочки в джинсах: крик, визг, уборная вечно занята, а ванная и вовсе неприступна. На лестничных площадках обнимаются и целуются всасос, а то и еще что предпринимают, если в охотку. Известному драматургу с известным режиссером, как я понял, уже пришлось принимать девочек в одном номере. Штаны, рубахи – все было на столе, похоже, они, хоть и разгневанные, отвыкли от таких неудобств. Так что неслыханное московское агитмероприятие, от которого мы, москвичи, были в восторге, нравилось им все меньше и меньше. Промучившись дня три, они решили сбежать, не дожидаясь открытия фестиваля, бежать с самого утра, но все же не раньше, чем подойдет их очередь в ванную и туалет. Вот тут-то и подоспел к ним молодой человек из радио со своим смехотворным магнитофоном-«крупорушкой», извинился на чистейшем (как ему казалось) хе мэджести куинз англиш и сунул под нос полуголому Осборну русский увесистый микрофон. В Ричардсоне я тогда еще не видел проку, не знал, какой это замечательный режиссер, а вот про Осборна уже был наслышан и хотел знать, как ему нравится наш единственный в подлунном мире всемирный форум, от которого сам я был в полном отпаде: после двух-то лет жизни в глиняной солдатской казарме в Эчмиадзине такое вот неслыханно-дозволенное скопление заморско-заграничных людей, нахлынувшее к нам под железную занавеску. «Вам здесь очень нравится?» – домогался я. И настаивал неистово: «А как вам нравится Москва? А как вам русское мороженое?»

Что-то ему все же понравилось. Но многое казалось подозрительным. Отчего пьяные не валяются под столбами и заборами, как в Глазго. Небось их вывозили грузовиками легавые?

Он сказал, что вообще не любит организованных праздников, не любит организованного веселья и массового энтузиазма, не любит никаких бойскаутов. Я был потрясен: какой сноб и брюзга! Наш уникальный фестиваль! Наша золотая столица!

Он попросил разрешения продолжить переодевание, прерванное моим приходом. «Но вопросы можете задавать», – добавил он, бессовестно сверкнув яйцами. Обнаружилось, что к мужскому стриптизу меня не приучила даже солдатская баня: когда он снял свои белые трусы, я стыдливо отвернулся к окну.

Он сказал, что ему понравился Парк культуры и отдыха. Имени кого-то знаменитого гуляки-писателя. Не Достоевского? «Горького», – сказал я. «Да, да Горького. Он, кажется, тоже написал пьесу. Там нормально развлекаются, в этом парке – танцы, карусели, качели, чертово колес. Обжимаются. Гондонов, впрочем, немного».

– Мы провели субботник, – сказал я гордо.

В редакции признали мою первую неудачу не полной. Шеф велел дать в вечернем эфире кусочек про парк культуры и естественные развлечения. Остальное все вырезать. В том числе, и мою фразу про субботник. У меня в столе долго валялась получасовая запись интервью, которую я потом отдал в «смоточную».

Читая книжку маркиза де Кюстина о России 1839 года, я убедился, что уже тогда иностранца положено было доставать подобным допросом: «Как вам понравился Петергоф? Правда ведь он лучше Версаля?» И уже тогда редко у кого хватало мужество послать собеседника в жопу. У Осборна хватило... Но на меня это произвело тогда неприятное впечатление. Странно. Кем же я хотел предстать перед англичанином? Патриотическим интеллектуалом с микрофоном? Невинным малолеткой на службе контрпропаганды? Обремененным семьей неудачником, зарабатывающим на хлеб в агитпропе? Приятным собеседником, с которым хочется подружиться навек? Светлым пятном на фоне мрачных российских встреч? «Никогда не забуду задушевного молодого битника по имени Зиновий...»

Позднее человек с микрофоном, этот задушевный Зиновий, стал двоиться и даже трояться в моем собственном сознании. С одной стороны, придя на интервью, он рад был, что его приняли и даже обласкали. С другой, он презирал в душе человека, который заискивает перед прессой, жертвует ради эфемерной славы своим временем. Он не уставал удивляться на симпатичного композитора, который, отложив работу, с неизменностью принимал его и читал текст (по бумажке, чаще всего подсунутой ему самим Зиновием) – что-то о «волнительном», об одобрении, об энтузиазме. Однако, получив отказ от интервью и уходя несолоно хлебавши, Зиновий проклинал надменного гордеца, хотя в душе и одобрял проявленную им брезгливую непримиримость.

Силен соблазн, слаб человек в малом. И пуглив. А потом слышит пение петуха и плачет от неизбывной вины, от презрения к своей слабости. Поплачет и отречется снова.

Часть третья



От издательства

По существу, эта часть книги представляет на суд читателя попавшее в руки Редактора собрание писем злосчастного Зиновия Кр-го, которые в ничуть не меньшей, но, конечно, и не в большей степени, чем его записки, могут притянуть на наше внимание.

Письма эти были адресованы нашим героем нескольким разным лицам, чаще всего – трем или четырем. Во-первых, жене, которую Зиновий называет иногда Конкордией, иногда Кокой.

Вторым адресатом являлся, по всей вероятности, некий задушевный друг автора, сам тоже писатель (никому, как, впрочем, и сам Зиновий, в писательском кругу не известный). Известно, что его зовут Яков, но само имя это не помогает нам установить ни его фамилию, ни его национальную принадлежность, ни даже его общеобразовательный уровень. Даже если

придерживаться крайне сомнительной и вполне сионистской шутки о том, что еврей – это уже среднее образование, то остается еще неясным, был ли этот Яков евреем.

Третьим корреспондентом нашего героя является тот, кого мы уже условились называть Редактором. То есть влиятельный покровитель нашего героя и отчасти его кормилец, наставник, учитель жизни и критик. По некоторым намекам в переписке можно, впрочем, установить, что само влиятельное лицо это занимало в сфере издательства пост весьма скромный (хотя и наличие поста само по себе уже не так мало для пылкой надежды, питаемой лицом пишущим, которому дай только повод!). Человек этот был скорее Младшим Редактором, чем Старшим или, упаси Боже, Главным, хотя позднее и работал в театральном главке.

Сделав эти небольшие пояснения, мы оставляем вас наедине с эпистолярным наследием героя.

Письмо первое

(Без даты)

Дорогая Конкордия!

Жизнь моя здесь⁴ протекает равномерно в трудах и в накоплении сил для оных. Несколько разнообразится она беседами с соседом моим Птищевым, когда мы встречаемся на нейтральной почве нашей общей, можно даже сказать, коммунальной кухни, истинной школы коммунизма – когда же он все-таки наступит, наш долгожданный! Вчера, например, мы рассуждали с Птищевым о смертности всего живущего и приводили друг другу довольно поучительные описания своих болезней. У Птищева получалось, что ничего бессмертного нет, и я доказывал ему обратное на замечательных примерах из прошлого. Разговор наш зашел в очень высокие сферы, где мы стали ссылаться на Шопенгауэра (о нем совсем недавно писали в журнале «Знание – сила»), однако меня отвлекал от нашей тематики процесс приготовления Птищевым котлет. Дело в том, что он, считая себя большим кулинаром, утверждал, что главное в этом деле – не жалеть яиц и масла. Причем в порядке мелкой подробности я заметил, что и яйца, и масло он по рассеянности снимал не со своей полки, а с моей. Не то чтобы мне жалко было этих вполне доступных ныне продуктов питания, но просто мысль моя отвлекалась этим пустяком от вечных вопросов, и я не мог не досадовать на ее слабую способность абстрагироваться от жизни. В итоге немудрящая мысль Птищева сводилась к тому, что все мы там будем и поэтому надо преуспеть здесь и побольше здесь иметь. Я возразил ему, что важнее больше оставить после себя. Он возразил, что тому, кто не имеет здесь ничего, совершенно нечего будет и оставлять. Поразительно, какая заземленность суждений может быть у вполне мыслящего человека и даже литератора.

Сценарий мой подвигается успешно, и я надеюсь, что в скором времени мы сможем получить всю сумму – двести или триста, хотя бы даже частями, – вот тогда уж мы заживем. Я не стал обсуждать с Птищевым, нужно ли купить на эти деньги что-нибудь солидное, стоит ли их весело промотать или, напротив, экономно их расходуя, обрести на время некоторую свободу от заработка, для того чтобы я мог писать новое произведение, свою, так сказать, книгу жизни.

Чувствую, что некоторые из эпизодов сценария получились у меня весьма неплохо – особенно случай с этим смешным стариком пенсионером, а также эпизод про массовые средства коммуникации – пора уже сказать о них во весь голос.

Конечно, я скучаю здесь, дорогая жена, но, взявшись за гуж, следует тянуть его до конца, так что вернусь я только тогда, когда закончу редактуру. Но это как раз я умею делать быстро, ты знаешь.

⁴ Строго говоря, неизвестно, какое имеется в виду «здесь». Предполагается, что упомянут пригородный дачный поселок Дрючково, воспетый некогда поэтом Машаниным: «Хороши стоят березы только в нашей полосе...» (Примеч. Редактора.)

Остаюсь любящий тебя
Зин.

Письмо второе

12 марта

Дорогой Яков!

Даже не знаю, сможешь ли ты себе представить, какой блистательный сегодня выдался день. Тепло разлито в воздухе, небо синее, а поблекшие было сосны и ели снова стали изумрудными. Сколько таких дней отпущено нам в жизни? И сколько из них мы успеваем хотя бы заметить? Хотя бы оценить? Даже если сложить их все вместе, как ничтожно коротка окажется жизнь!

Я воистину счастлив, что могу еще замечать красоту окружающего мира, что располагаю временем, чтобы разогнуть спину и глянуть вокруг. Не думай, что я не благодарен за это Тому, кого должно благодарить. Однако жизнь все же осложняется всякими мелочами, которые застят главное – не хочу об этом подробно. Просто знаю, что ты со мной согласишься: как главному я поклоняюсь именно этому мартовскому дню, неожиданно теплomu, очень яркому солнцу, странному оживлению талого снега; все поле как будто стронулось, потянулось к солнцу, зашевелилось, стало хрупким, зашуршало, зашелестело льдинками, заблестело каплями, потекло ручейками...

И еще мне снился сон. Люди входили в него, не объясняя причин своего появления, совершали несвойственные им в обычной жизни поступки – и результат был ужасен, я проснулся потрясенный... А проснувшись, увидел это синее-синее небо, березы, точно отбеленные за ночь, – разве это все не предмет искусства? И почему я должен изучать какую-то еще жизнь, которой я и ведать не ведаю: например, преимущество малых звеньев перед большими бригадами в колхозах разукрупненного типа при наличии РТС, своевременно сменивших столь своевременные МТС? Нет, нет, дорогой Яков, не знал никогда и не хотел бы знать эти технические подробности, однако утрешний разговор с редактором навел меня на все эти трепыхания, изгнал жизнь из пресветлого дня – ну не суетливая ли я тля! Прости за аллитерацию, она невольная, от расстройства. Так вот, зачем же я еще должен «изучать жизнь», когда я сам живу, жизнь моя проходит – и разве мало в ней сложностей, чтобы я придумывал еще сложность, возникающую между двумя бригадами по вине недобросовестной колхозницы? С другой стороны, я сам затеял в своем тексте всю эту склоку на колхозной почве, догадываясь, что именно эта почва может зацепить издательский или студийный интерес, – и эта сколка, и эти бригады, и эти РТС, это не моя и не твоя жизнь. И ведь все это их зацепило, а стало быть, я хитро рассчитал свой посев, да только мало-помалу выяснилось, что не могу я толком ни унавозить эту почву, ни ее вспахать.

Так-то, друг мой, написал тебе, высказался, теперь за труд – «любимый труд», он же постылый. Даже не знаю, когда он мучительней, когда любимый или когда постылый.

Твой З-й

Письмо третье

12 марта

Глубокоуважаемый Валерий Афанасьевич!

Сегодня еще раз перечитал сценарий в свете нашего с Вами последнего разговора и еще раз убедился, как Вы были правы, бесконечно правы. Жизнь идет вперед своим поступательным шагом, тысячи явлений рождаются в ней, старое отмирает, путаясь под ногами, и мы, писатели – кто же еще! – должны отразить это в выпуклой и недвусмысленной форме. А

сюжет? Опять Ваша правда. На него, как на стержень, нанизываются острые конфликты, без него все разваливается, подобно карточному домику. И наконец, герой. Никакая дегероизация, тем более пресловутая, не сможет в такой мере отразить блестящую современность, как герой. Настоящий, пышущий и брызжущий силой. Теперь, когда я понял все это, думаю, что смогу с новыми силами сесть за работу и переделать решительно все.

Не скрою, что мне жалко выбрасывать старика пенсионера, именно в нем я хотел отразить некоторые сдвиги назад в сознании отдельных престарелых людей, тем более раз получилось смешно. Что касается средств массовой коммуникации, то это не издевка – но, если даже мысль такая может закрасться, следует это выбросить. Вы тысячу раз правы. Просто я хотел указать дорогу некоторым из средств, которые не смогли еще стать тем холодным, острым и массовым оружием, а просто влачат пошлое существование.

Работаю много и, несмотря на некоторые шалости здоровья, надеюсь сдать работу не позже начала апреля.

Читали ли Вы роман Джеймса Пудинга в «Иностранной литературе» – что за прелесть этот Пудинг! В «Новом мире» опять нечего читать. Вот тебе и хваленый журнал. Полностью опустился. Вы отчасти и здесь правы.

С весенним приветом

Искренне Ваш

З. Кр-ский

Примечание редактора

Как видите, понимая всю необходимость переделок и более актуального звучания, мой друг переживает эстетские метания и трудности, хочет оправдать свою творческую безответственность и даже поднимает нечто вроде индивидуалистического бунта, сжимая свой творческий кукиш в кармане. Однако с удовлетворением могу отметить, что, именно следуя моим советам, все подлинное в Зиновии преодолевало эту мещанскую беспомощность и мой друг создал хотя и немногие, но вполне приемлемые страницы, посвященные нашей трудовой реальности, благодаря чему (пусть и ненадолго) вышел на широкую арену печати, экрана и даже театральных подмостков.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.